

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Веденин Ю.А., Ненароков А.П.,
Полян П.М. (председатель),
Постникова О.Н., Янович Л.С.

УДК 821.161.1-94
ББК 63.3(2)-75ю14
В79

В79 Воцинникова Н. И.
Семейные истории на фоне двух эпох / Воцинникова Н. И. -
М. : Новый хронограф, 2012. - 200 с. : ил. - (Серия «От первого
лица: история России в воспоминаниях, дневниках, письмах»). -
ISBN 978-5-94881-186-4.

Книга написана по материалам семейного архива и воспоминаниям
родных и близких автора, о людях простых и вместе с тем непростых.
О том, как в их повседневную жизнь вторгались события двух эпох,
дореволюционной и советской. О преемственности поколений
вопреки всему.

Агентство СІР РГБ

ISBN 978-5-94881-186-4

© Воцинникова Н.И., 2012
© Издательство
«Новый хронограф», 2012

Оглавление

Вступление	7
<i>Глава первая</i>	
Кинешма. Съемки «Бесприданницы»	12
<i>Глава вторая</i>	
Старая записная книжка	20
<i>Глава третья</i>	
«Очень весело...»	25
<i>Глава четвертая</i>	
Пути-дороги	34
<i>Глава пятая</i>	
Красильщиковы и Доброхотовы	45
<i>Глава шестая</i>	
Обустройство молодоженов	60
<i>Глава седьмая</i>	
Семейная драма	72
<i>Глава восьмая</i>	
Дети и «первый штурм»	79
<i>Глава девятая</i>	
К знаниям	92
<i>Глава десятая</i>	
Кинешма Эренбурга	114
<i>Глава одиннадцатая</i>	
Кто хотел и кто не захотел «пойти в попы»	126
<i>Глава двенадцатая</i>	
Советские интеллигенты	130
<i>Глава тринадцатая</i>	
Судьбы родителей	149
<i>Глава четырнадцатая</i>	
Наши странствия	164
<i>Глава пятнадцатая</i>	
Загорск и Москва	176
Именной указатель	195

Вступление

Сначала, предупреждая возможные вопросы читателя, – о замысле этой книги и о том, из чего она сложилась.

Речь пойдет о нескольких поколениях одной семьи. О них я постараюсь рассказать, основываясь главным образом на бумагах всякого рода и фотографиях, которые постепенно накапливались в домашнем, семейном, архиве начиная с очень-очень далекого уже времени – с 80-х годов XIX столетия. Мои родные, оставившие мне эти документы, жили при царях и при советской власти в разных местах России – в провинциальных городах, сельской местности, Москве. Одних я хорошо помню, прежде всего, конечно, своих родителей. Они и теперь, как принято шаблонно выражаться, стоят перед моим «мысленным взором». О других я не раз от них же слышала. О третьих узнала лишь тогда, когда стала по-настоящему разбираться в том нагромождении разрозненных осколков прошлого, каким оказался мой семейный архив.

Когда-то моих «предков» называли бы обывателями, не придавая этому слову уничижительного смысла, он возник позже. Слова-ярлыки вошли в широкий обиход после революции. Помню еще с детства, было и такое популярно-принудительное определение – из пафосной песни предвоенных 30-х гг.: «советский простой человек», этой «простотой» полагалось гордиться. Правда, в другое время, после разоблачения «культа личности», кто-то из поэтов-песенников решил определение подправить и, недолго думая, изменил в своей песне одно слово: «наш непростой советский человек». С такой поправкой определение считалось все же более уважительным, чем послевоенное сталинское сравнение граждан СССР с «винтиками». Все эти определения сегодня забыты. Осталось пока то, что спел Булат Окуджава о жителях своего арбатского «отечества»: они – «люди не великие» – «каблучками стучат, по делам спешат» ...

Не обладая даром поэтического воображения, я попробую «воскресить» моих близких и их дела доступными мне средствами. На мой взгляд, они, тоже люди совсем не великие, были простыми и в то же время не простыми, поэтому я и решилась о

них рассказать. Мне кажется, что независимо от моего личного, может быть, пристрастного отношения, те свидетельства прошлого, что достались мне от них в наследство, способны вызвать интерес. А у кого-то из читателей больше, чем интерес, – какие-то ассоциации с судьбами их близких и знакомых.

Сохранившийся «материал» продиктовал мне порядок изложения. Там, где его явно недостаточно, приводятся сведения, взятые из специальной, мемуарной и иной литературы. Пригодились и некоторые художественные произведения. Весь этот «вспомогательный», но совершенно необходимый материал разыскал мой муж, главный мой помощник и подсказчик в работе над книгой, фактический соавтор¹. Местами заметнее его почерк, слышнее его голос. По его почину эта работа и затеяна. У нас не было, когда мы только к ней приступили, полной уверенности в том, что из наших усилий может получиться что-то связное, пригодное для чтения. Многие бумаги, оставленные моей мамой, лежали тогда еще непотревоженными или же нерасшифрованными. Предстояло извлечь из них, «вытащить» возможно больше информации – задача, как будет дальше показано, очень нелегкая. Чем и занимался прежде всего муж как исследователь с опытом. Настоял он и на примечаниях и именном указателе, как привык, как принято.

Увы, все равно нужных сведений в моем распоряжении меньше, чем хотелось бы. Кроме семейного архива и литературы, использованы еще воспоминания, мои и «воспоминания о воспоминаниях» – все, что мне приходилось слышать о членах нашей семьи от родителей и других родственников. Сознаю вместе с тем с грустью и сожалением, что слушала в свое время эти устные воспоминания, высказанные нередко мимоходом в разное время, не так внимательно, как следовало бы. Молодость смотрит преимущественно вперед, а не назад. Расспрашивать и записывать я стала позже, повзрослев. Но в иных случаях было слишком поздно, не к кому было уже обращаться за разъяснениями. Так что теперь в этом отчасти документальном, отчасти мемуарном рассказе не обойтись без догадок и предположений. Возможно, не все из них покажутся убедительными, но я буду рассуждать вместе с читателем.

Еще одно предупреждение. Кого-то оно разочарует, кого-то все же, смею надеяться, напротив, заинтересует. Преобладающее

¹ Доктор исторических наук И.С. Розенталь

Вступление

место в моем рассказе занимает то, что раньше было принято называть «домашним бытом», он складывается из мелочей, описываются они неторопливо. Писать о них «бегом» бессмысленно, и я рассчитываю, возможно, слишком самонадеянно, на внимательное чтение. Напомню тем, кто не знает: понятие «домашний быт» стало употребительным с тех пор, как им начал пользоваться историк старой Москвы и основатель Исторического музея Иван Забелин. Оно отчасти соответствует теперешнему более широкому понятию «повседневность», принятому современными историками.

Уже при Забелине, в конце XIX – начале XX веков, повседневность перестала быть преимущественно домашней, как это было еще характерно для допетровского времени, которое он пристально изучал. По его мнению, у каждого частного народного типа – свой домашний быт, они сливаются в «общий тип народной жизни». Сам Забелин начинал с царей и цариц, до других групп населения он не дошел, но имел их в виду. Необходимость изучения этой стороны жизни Забелин обосновывал так: «Домашний быт человека есть среда, в которой лежат зародыши и зачатки всех так называемых великих событий его истории, зародыши и зачатки его развития и всевозможных явлений его жизни общественной и политической или государственной»². Он призывал историков не ограничиваться описанием «громких, но жалких дел» «неугомонных лиц» – «чингисханов и тамерланов» и увидеть «лицо народа».

Мне эта мысль с таким различием-противопоставлением (довольно неожиданным для историка, писавшего о царях) близка. В свете опыта XX столетия, которое Забелин захватил в самом начале, ее могут назвать устаревшей или спорной, выраженной чересчур категорично. Но в любом случае связь между «малым» и «так называемым великим», их взаимозависимость и взаимоотталкивание отрицать не приходится, и мы попытаемся эту сложную связь как-то проследить. Про неугомонных «чингисханов и тамерланов» тоже немного скажу, хотя непосредственно с ними мои родственники в своей жизни почти не соприкасались – к счастью или сожалению, затрудняюсь сказать.

² Цит. по: Формозов А.А. Историк Москвы И.Е. Забелин. М., 1984. С. 131.



*Евлампия Васильевна
Доброхотова*

*Обложка
бабушкиного
дневника*



Глава первая

Кинешма. Съёмки «Бесприданницы»

Особенность содержания моего скромного архива и запомнившихся воспоминаний близких людей состоит в том, что значительная часть того и другого связана с Кинешмой. Я родом из этого небольшого города на правом берегу Волги в верхнем ее течении. Все, что касается Кинешмы, мне интересно – ее история, облик, местный колорит. Находится Кинешма на северной границе Центрального текстильного района, до революции она была в смысле административном уездным городом Костромской губернии, а с 1918 года «переместилась» в новообразованную Иваново-Вознесенскую, затем Ивановскую Промышленную, затем Ивановскую область, где и остается со всей округой по сей день.

С точки зрения экономической Кинешма – часть текстильного края. На гербе Кинешмы в верхней половине – корабельная корма (город на Волге!), в нижней – два рулона ткани. В разной степени, прямо или косвенно, некоторые мои родственники были с текстильными фабриками связаны. Поэтому я коснусь и экономики, но лишь тогда, когда этого потребует изображение и объяснение людских судеб, жизненных обстоятельств, в которые попадали мои «предки».

Итак, самые общие сведения о городе, где я родилась. Открываем книгу «Кинешма. Уездный календарь-справочник на 1916 год». То есть, как было заведено, для использования в следующем году. Что этот год будет последним дореволюционным, в тот момент, когда справочник составлялся, вероятно, не предполагали. Книга издана солидно, тиражом в 4100 экземпляров. Сохранилась, наверное, малая часть тиража – из-за портретов устранившихся революцией «бывших людей», хранить такие книги было небезопасно, муж отыскал ее в крупной библиотеке. Кинешма, сообщалось в справочнике, «стоит на большом Нижегородском тракте, в 86 1/4 верстах от Костромы. Раскинутая на крутой горе, по правому берегу Волги, огибаемая с юго-востока и запада небольшими речками Кинешемкою и



Кинешма. Промышленная часть города

Кизохою и окруженная со всех сторон живописными окрестностями, Кинешма по справедливости может быть отнесена к числу красивейших городов по местоположению». И еще сказано, что город «расположен правильно и содержится довольно чисто», а каменных домов имеется 43 – по их числу Кинешма «самый богатый» город в губернии, уступая только Костроме. Но ясно, что гораздо больше в городе домов деревянных.

Согласно тому же справочнику, постоянных жителей в Кинешме насчитывалось тогда 2461, из них 73 потомственных дворянина, 109 личных, 224 представителя духовенства, восемь потомственных почетных граждан, 226 купцов и 1276 мещан. Ремесленников (из мещан) – 352, в том числе «замечательные иконописцы». Еще имелась «инвалидная команда» – 229 человек. Рабочие не учитываются, так как они не сословие: почти все принадлежат к крестьянскому сословию, живут постоянно в окрестных селах или при фабриках, а фабрики строятся за городской чертой. Фактически это Кинешма, но формально нет, вот почему указано такое ничтожное по нынешним меркам число жителей города (может быть, учтены только главы семейств?).

Родившись в Кинешме, я жила там совсем недолго и не могу поделиться с читателем собственными хотя бы детскими впечатлениями, их просто нет. Знаю о родном городе прежде всего от мамы, чье детство, отрочество и начало юности – до 19 лет –

Глава первая

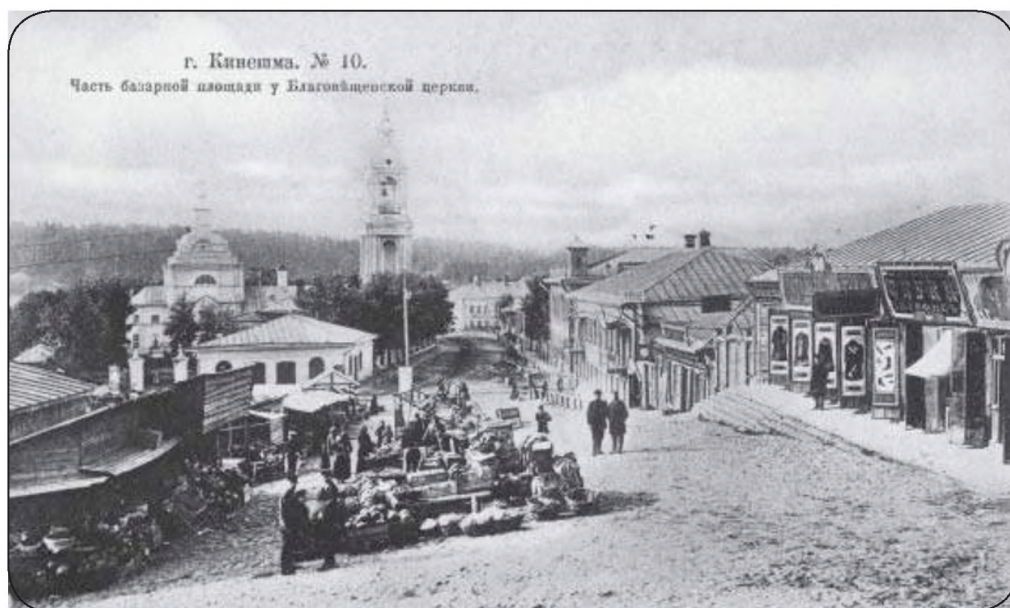


Кинешма. Пристани на Волге

прошли в Кинешме, она приезжала туда и позже, работала там, очень любила этот город и тех его жителей, кого хорошо знала. В Кинешме и ее окрестностях прошла большая часть жизни ее мамы, моей бабушки, «бабуси», я ее застала и так называла в детстве. О ней будет дальше очень много сказано – в пределах прочитанного и услышанного.

Чрезвычайно благодарна я краеведам. Из того, что они написали об этих местах, я и муж прочитали немало, хотя, наверное, не все. Результаты их изысканий я учла. Но мой рассказ не будет чисто краеведческим. Во-первых, я не вправе считать главных героев рассказа местными знаменитостями, да и жили они не только в Кинешме. Во-вторых, наряду с подробностями их жизни, речь пойдет о том, как в их биографии вторгнулся исторический «фон», включая те самые «так называемые великие события», о которых писал Забелин. О том, далее, как проявлялись особенности сопряжения двух миров – провинциального и столичного. И как совершалось при этом движение времени, насколько мне удастся его уловить и показать.

В тот год, когда я родилась (а это 1929-й, который Сталин провозгласил «годом великого перелома»), моя мама Александра Петровна Доброхотова, молодой врач, находилась далеко от Кинешмы, в Сибири. В Барнауле она заведовала медицинским учреждением под названием «Первичный пункт здоровья Ю. П.



Кинешма. Часть базарной площади

Общества Красного креста» – почему-то сокращали слова «юных пионеров», причем сокращение не казалось местным жителям странным. Встречались сокращения и не такие. Но рожать мама все-таки приехала из Сибири на Волгу, в Кинешму, в «доброхотовское гнездо». Она была на пятом месяце беременности, и далекое путешествие оказалось для нее очень нелегким, об этом речь впереди.

Между прочим, среди других подробностей биографии своего мужа, моего отца Ивана Матвеевича Воцинникова, она узнала, что и ему довелось однажды побывать в Кинешме. Не по собственному выбору: заболев в конце Гражданской войны сыпным тифом, он находился там на излечении. Конечно, ничего еще не зная об этом новом для него городе, о жителях Кинешмы и семье Доброхотовых. Будущая его жена училась в это время в Москве, в университете. Позже судьба занесла его в Барнаул, случилось это тоже еще до знакомства и женитьбы. Возможно (хотя и не обязательно), такие биографические случайности как-то повлияли на их отношения.

С Кинешмой связано и первое мое, если можно так выразиться, жизненное испытание, в младенческом еще возрасте. Сама я, об этом, разумеется, не помню, но слышала от мамы и родственников о том, как внезапно загорелся наш дом, и меня, двухмесячную, запеленатую, спасая от огня, сбросили из окна второго

этажа вниз, на натянутую простыню. Все обошлось благополучно – наверное, и потому, что этаж был невысокий, и вес мой был еще мал... Пожары в деревянных в основном городах России случались часто, дело общеизвестное, я дальше расскажу еще об одном кинешемском пожаре, за сорок лет до этого, по впечатлениям бабушки.

В пятилетнем возрасте я снова побывала в Кинешме – проездом, с родителями, перебиравшимися со всеми пожитками с Урала в Московскую область. Все увиденное в это второе посещение помню смутно, осталось общее размытое впечатление, не о городе, а о большом количестве родственников, которых мы навещали. О событии, взволновавшем вскоре после этого кинешемцев, знаю со слов очевидца – моей двоюродной сестры Музы, дочери маминого брата Леонида Петровича Доброхотова, дяди Лени, она была на одиннадцать лет меня старше. И из прочитанных позже книг по истории советского кино. Событие это – проходившие в Кинешме съемки фильма по драме А.Н. Островского «Бесприданница».

Рассказ об этом в известном смысле знаковым и, выражаясь научным языком, социокультурном событии своего времени, причем не только местного значения, будет как бы заставкой к дальнейшему рассказу. Попыткой увидеть связь и столкновение двух эпох – той эпохи, когда была написана пьеса, и той, когда снимался фильм, связь, которая дальше будет раскрываться на материале истории нашей семьи.

«Бесприданницу» Островский написал в 1878 году, он читал пьесу в Москве пять раз, и, по его словам (из письма другу, артисту Ф.А. Бурдину), в числе слушателей были лица, враждебно к нему расположенные, но «все единогласно признали “Бесприданницу” лучшим из всех моих произведений»³. Под городом Бряхимовым, где происходит действие пьесы, Островский определенно подразумевал хорошо знакомую ему Кинешму; правда, маскируя это ремаркой «большой город». Из кинешемской жизни он почерпнул немало, не только для «Бесприданницы». Ведь писатель жил в усадьбе Щельково, в двенадцати верстах от Кинешмы, написал там больше половины своих пьес, в том числе «Бесприданницу». В течение тринадцати лет он был почетным мировым судьей, дважды, в 1874 и в 1877

³ Арлазоров М. Протазанов. М., 1973. С. 232.

годах, избирался гласным Кинешемского уездного земского собрания.

Съемки фильма в Кинешме начались в феврале 1935 года. Приехавшую из Москвы съемочную группу возглавлял кинорежиссер Яков Протазанов, признанный мастер, получивший известность еще в кино немом, дореволюционном, а позже и в советском кинематографе 20-х годов («Аэлита», «Процесс о трех миллионах» и другие незабытые работы). Приступая к съемкам, он хотел, во-первых, вынести действие на улицы, на пристани, на волжскую ширь и, во вторых, чтобы в новом фильме все было исторически достоверно. Дом Доброхотовых на Московской улице (этот адрес я читала не раз на открытках, посылавшихся бабушке и маме) стоял как раз напротив здания, откуда, согласно сценарию фильма, вдова Огудалова увидела подъезжающий экипаж – ландо красавца-барина Паратова, «человека с большими усами и малыми способностями», по его же самоаттестации.

Играл Паратова артист Художественного театра Анатолий Кторов. И хотя старую, черно-белую «Бесприданницу» вроде бы затмил в глазах новых поколений кинозрителей «Жестокий романс» Эльдара Рязанова, игру замечательных артистов 30-х годов в старой картине вспоминают (по крайней мере, знатоки киноискусства) до сих пор. Особенно неподражаемый жест Кторова, расстилающего дорожную шинель с бобровым воротником (или шубу?) перед Ниной Алисовой – Ларисой, чтобы она, выйдя из церкви, могла перейти через разлившийся весенний ручей, преградивший ей путь с тротуара на мостовую, к карете, где ее поджидала мать. Этот эпизод снимался как часть пролога фильма, которого в пьесе нет, его написали сценаристы. Говорят, правда, что снимали этот эпизод не в Кинешме, где погода в то время была неподходящей. Или вид церкви не подошел – с точки зрения режиссера и оператора.

В Кинешме тем не менее отсняли много. Внешне она не сильно изменилась, особенно центральная часть города, где проходили съемки. В начале 30-х годов Малая советская энциклопедия сообщала, что города губернии, в том числе и Кинешма, «молоды и мало благоустроены». Молодыми были недавно преобразованные в города бывшие фабричные села, но не Кинешма, впервые упомянутая в летописи еще в связи с набегом татар в 1429 году. Насчет неблагоустроенности, может быть, и верно, если имелись

Глава первая

в виду окраины; напомним, накануне революции считалось, что город содержится «довольно чисто». Протазанову и его помощникам без особых усилий удалось воссоздать необходимую для киносъемок обстановку уездного города второй половины XIX века, каким он был в центре. Большую деревянную лестницу, спускавшуюся от бульвара на крутом берегу к Волге, специально отремонтировали.

Но люди были уже другими. Или думали, что они совсем другие, как-никак прошло почти двадцать лет советской власти. Иные слои городских жителей давно исчезли. Поэтому появление на Волге парохода с подозрительной надписью «Святая Ольга» и с пассажирами «старорежимного» облика – чиновниками в мундирах, священниками и т.п., а на набережной купцов в поддевках и фланирующих дам в шляпах и платьях с турнюрками – поначалу вызвало у местных жителей замешательство. Кто-то даже крикнул: «Что это за белогвардейская публика?». Нашелся представитель местной власти, непосвященный в происходящее и приказавший послать вдогонку пароходу катер...

Фильм «Бесприданница» принадлежит той полосе советской истории, когда нуждавшаяся в обновлении официальную идеологию стали разбавлять, обращаясь к гуманистическому пафосу культурного наследия XIX века. Перестали «сбрасывать с парохода современности» и русскую литературную классику. Чтобы не прибегать к общим фразам, я не говорю здесь о том, что получило в итоге от этих дозированных инъекций массовое сознание. Ведь это происходило в пик сталинского террора и накануне Великой Отечественной войны. Иногда это выглядело довольно коряво. Символом официальных подходов стало празднование в 1937 году (!) 100-летия со дня смерти (!) Пушкина, когда на торжественном заседании в Колонном зале Дома Союзов за спиной президиума сравнительно небольшой бюст Пушкина почти потерялся на фоне огромного портрета Сталина.

Были, правда, и другие варианты связывания Пушкина с «великой сталинской эпохой», с соблюдением внешних пропорций. На одном из плакатов того времени поэт парил на манер ангела над демонстрантами, несущими портреты вождей, и читал свои стихи: «Товарищ, верь...» и т.д. То есть надо было понимать, что предсказанная им «заря пленительного счастья» как раз теперь и возшла...

Не обошлось без идеологических «поправок» к Островскому и в протазановской экранизации «Бесприданницы», чему режиссер сопротивляться не мог. Об этом рассказал сценарист. Решили изъять последние слова умирающей Ларисы в финале пьесы, которые она произносит «постепенно слабеющим голосом». В этих словах усмотрели противоречащий советским представлениям и социальной направленности пьесы мотив христианского всепрощения: «Это я сама ... Никто не виноват, никто ... Живите, живите все ... Я ни на кого не жалуюсь ... » и т.д. И еще постарались, чтобы в советском фильме о навсегда ушедшей эпохе было «бесповоротным» осуждение «людей дела», то есть русских буржуа, кнуровых и вожеватовых, которых, по мнению сценаристов, Островский иногда был склонен противопоставить барам типа Паратова⁴.

Об этом я узнала, конечно, позже. На предвоенные годы пришлось начало моего школьного детства. На обложках ученических тетрадей тогда, кроме таблицы умножения, стали изображать Пушкина и его персонажей. Устраивались выставки рисунков на пушкинские темы (два рисунка моего мужа, учившегося тогда в первом или втором классе в Минске, – «иллюстрации» к «Руслану и Людмиле» и «Сказке о царе Салтане» – попали на такую выставку, размещенную в актовом зале школы). Я познакомилась с этими произведениями, благодаря маме, еще до школы, мама мне читала и сказки Пушкина, и «Евгения Онегина». Герои Пушкина присутствовали в моих детских играх, я накрывала шалью стол, изображая «шатер», и говорила, что выйду замуж только за Руслана.

Перед войной, школьницей, я увидела выпущенную в 1937 году в прокат «Бесприданницу», будучи уже подготовленной чтением, имея представление о театре Островского. И зная нечто конкретное о Кинешме. Моя мама, не видевшая, как снимался фильм, узнавала, когда мы его смотрели, и показывала знакомые ей с детства места: бульвар на берегу Волги с площадкой перед кофейной, пересекающей бульвар пополам, беседку...

⁴ Швейцер В. Диалоги с прошлым. М., 1976. С. 114.

Глава вторая

Старая записная книжка

Я подошла к дате, с которой начинаются записи в самом раннем из находящихся у меня документов, – в дневнике моей бабушки. Эта дата – 1886 год, год, между прочим, смерти великого драматурга. Совпадение случайное, и для ясности необходима оговорка. Приравнивать образы, созданные Островским, к своему «сырому» материалу я, конечно, не собираюсь, это было бы нелепо, даже если бы мой архив оказался более обильным и насыщенным.

Но сравнить мир русской провинции, каким он предстает, если смотреть в «увеличительное стекло» искусства, с тем, каков он в калейдоскопе «свидетельских» показаний современников, мне и мужу кажется допустимым. И сопоставить то, что открывают эти показания, в частности, картину русского мещанско-купеческого быта, не столь давно лишь сурово обличаемого («дикие нравы», «отвратительная волчья сущность» и тому подобные штампы), с сегодняшними, более спокойными и объективными взглядами историков на эту социальную среду. Ибо эта среда, теперь можно сказать безбоязненно, тоже была частью народа.

Далеко не все случавшиеся тогда житейские коллизии могли попасть в поле зрения писателей и превратиться под их пером в факты искусства. Что-то запечатали, как могли, сами участники этих событий, нисколько не надеясь на внимание далеких потомков и тем более посторонних. Одно из таких свидетельств у меня в руках. Как я понимаю теперь, это самая настоящая реликвия – экземпляр выпущенной в Москве «Записной Книжки Календаря» с дневником. Дальше я буду отдельные места цитировать и кое-что перескажу.

Попрошу все же читателя набраться терпения. Я начну не с конкретных сведений, которые можно почерпнуть из записей бабушки, но расскажу сначала об интересных «внешних» особенностях текста, характеризующих автора и его время.

Итак, упомянутая мной записная книжка в потрепанном коричневом переплете с надписью наискосок принадлежала маме-

ной маме Евлампии Васильевне, урожденной Красильщиковой, в замужестве Доброхотовой. Старинное и непривычное нам имя Евлампия, давным-давно вышедшее из употребления, дали ей при крещении по святцам. Близкие, ее примерно возраста, и родители звали ее просто и ласково – Лапочка («Милая Лапочка», – читаю обращение в сохранившейся открытке, посланной ей сестрой Машей 23 мая 1909 года). Было бы странно употреблять это уменьшительное имя в моем рассказе. Как же быть? Для относительного единообразия буду называть ее бабушкой, хотя вначале речь будет идти о девушке и молодой женщине. И иногда Евлампией Васильевной.

Записную книжку ей подарил 12 февраля 1886 года в приволжском селе Красном (это недалеко от Кинешмы) Константин Николаевич Сорокин, о чем можно прочесть на оборотной стороне обложки, писала это уже обладательница книжки собственноручно. И повторила снова в конце книжки. Ей исполнилось тогда 22 года.

В книжке два текста: типографский и рукописный. В том, что напечатано мелким шрифтом на первых страницах, нет ничего уникального, это справочные сведения для всех, максимум того, что могло понадобиться российскому обывателю, особенно москвичу, но также и провинциалу на исходе XIX столетия. Подобные «ежедневники», где чистым страницам предшествуют заполненные, выпускаются и в наше время, только набор сведений и последовательность их расположения иные, исходя из нынешних представлений о необходимом. Ясно, что в начале XXI века приоритеты другие, чем тогда. Так что и эта, общая для всех экземпляров записной книжки часть небезынтересна. Не сомневаюсь, бабушка в нее заглядывала.

Тогда в первую очередь полагалось указать по месяцам и числам церковные праздники и дни святых (здесь можно узнать, что день Евлампии 31 марта); затем перечисляли неприсутственные дни, в том числе для воспитанников военно-учебных заведений; приводили список членов Российского императорского дома с днями их рождения и тезоименитства.

Стоит обратить внимание на очередность прочих сведений. Она характеризует издателей, которые не просто удовлетворяли спрос, но считали своим долгом способствовать воспитанию тех, кто книжку приобрел. Так можно думать потому, что далее

Глава вторая

следуют сведения не экономические, а культурные: «музеи, библиотеки и проч.» – отдельно в С.-Петербурге (их пятнадцать) и Москве (восемнадцать, половина бесплатно) с указанием, когда они открыты для посещения. Затем «цены местам в театрах» в Петербурге – в Большом, Александринском, Михайловском и Москве – в Большом и Малом.

Только после этого идет список железных дорог России с перечислением – удивительно – всех станций, так немного их было. Расписание поездов озаглавлено так: «Поезды железных дорог и тариф (Часы по Московскому времени)». Потом перечисляются главные ярмарки России, когда и где они действуют. Правила пожарных сигналов Москвы. Много разнообразной полезной информации в конце книжки – о почте, телеграфе, мерах – русских и заграничных, валюте, образцы векселя и доверенности и т.д. Дальше будет видно, какие из этих сведений бабушка использовала.

Сохранившиеся фотографии Евлампии Васильевны разных лет, разного ее возраста, говорят о ней и много и слишком мало, как всякие неподвижные изображения, изготовленные ремесленником, даже очень умелым. И по этой причине интересно воспользоваться возможностью не только ее увидеть, но и «услышать». Ведь можно было найти подарку любое назначение, но бабушка решила вести в записной книжке дневник. Само это решение уже заслуживает нашей благодарности. Дневником книжка прежде всего и интересна, именно он превращает ее в уникум, поскольку в недворянских семьях XIX века дневники не были явлением сколько-нибудь распространенным.

В многотомном библиографическом указателе «История России в дневниках и воспоминаниях» под редакцией видного историка профессора Петра Андреевича Зайончковского опубликованные дневники и мемуары лиц мещанского сословия, по-моему, не значатся. Воспоминаний купцов – единицы, да и то главным образом воспоминаний тех, кто из этой среды вышел, но затем изменил свой образ жизни и окружение. Современный исследователь истории мещанского сословия в России Л.В. Кошман справедливо относит это сословие к «безмолвному большинству» населения, слабо связанному с письменной культурой⁵. А дневников и воспоминаний, написанных женщинами той среды,

⁵ Кошман Л.В. Город и городская жизнь в России XIX столетия. Социальные и культурные аспекты. М., 2008. С. 39.

нет и подавно. Возможно, такие воспоминания нашлись бы в архивах. Но не дневники. Насколько знаю, никто их специально не разыскивал. А впрочем, не поручусь, что это так. За всем, что делают историки и краеведы, не уследишь, и не перевелись еще в России энтузиасты...

Но почему в таком случае не опубликовать редкий текст целиком, может спросить иной читатель, особенно специалист. Попробую объяснить. Во-первых, рассчитываю, что читать будет интересно не одним специалистам. И во-вторых. Видимо, когда бабушка стала вести дневник, ни образца, ни наставника в этом деле у нее не нашлось, дворян и лиц интеллигентных профессий среди знакомых ее семьи не имелось. Перегородки между сословиями в малых городах были еще прочными. Что именно из всех быстротекущих событий и впечатлений заслуживает быть закрепленным таким непривычным для своего круга способом, а что увековечивать ни к чему, никто ей не подсказывал. О чем писать, решала она сама. Поэтому цитировать, отбирать и комбинировать я буду, но воспроизводить все подряд, что есть в дневнике, – значит злоупотреблять вниманием (моего все-таки, а не бабушкина) современника.

Бабушке нравился сам процесс записывания, так и сказано в одном месте: «Не знаю, что писать, а хочется-то писать...». Писала она без абзацев, без знаков препинания, ничего не исправляла, помарок нет. Почерк довольно мелкий, не каллиграфический, но первое время очень аккуратный; у ее сестры Маши – судя по сохранившейся открытке – гораздо хуже. Если бабушка училась в учебном заведении (об этом я ничего не знаю), то, безусловно, не в гимназии. В Кинешме, кстати, гимназии еще не было, она появилась в 1899 г. Так что образование бабушка получила, вероятно, домашнее. Страницы для записей она использовала в беспорядке, как попало, не с начала книжки; более поздние записи помещаются раньше, на пропущенных страницах. Запись 1888 года, за ней 1887-й, потом 1885-й (на самом деле должен быть 1886-й), 1889-й и т.д. Можно предположить: это от изменчивого ее настроения и от нетерпеливого характера. Впоследствии жизнь, оказавшаяся для бабушки не такой легкой и простой, как вначале, внесла в ее характер свои поправки.

Стоит еще предварительно сказать о языке записей: он разговорный, без какой-то шлифовки и тем более художественной

Глава вторая

обработки. Непривычно написание географических названий – так, как слышалось, как произносили окружающие: Вичюга, Плёсо (но таким и было старое, с XIV века, написание – Плёссо). Речь горожан среднего по тогдашним меркам достатка и образования, во всяком случае речь, в общем, грамотного человека. Есть сходство с крестьянскими оборотами, но много и чисто городского. Ошибок хватает, но при воспроизведении и необходимом исправлении отдельных мест текст мной почти не тронут.

Итак, что там написано? И не написано? – хотя, на мой взгляд, человека, перешедшего в XXI столетие, должно было бы непременно попасть в поле зрения автора дневника. Но не попало. Попробую понять (или угадать), почему.



Кинешма. Съезд к Волге

Глава третья

«Очень весело...»

Идет 1886 год, пять лет, как в России царствует Александр III. В 1894 году на престол вступил Николай II. Об этом бабушка не может не знать, но в дневниковых записях нет имен государей – ни в качестве хронологических ориентиров, ни в связи с какими-либо громкими событиями. Конечно, это не «позиция», не особое отношение к монархии. Просто с тем, что интересуется Евлампия Красильщикову в годы ее молодости, события в Петербурге, либо еще где-то далеко от родных мест, никак не прикасаются, они не для дневника.

Читаем запись, сделанную через три дня после того, как получен подарок: «Суббота, вечер. Маша и я сидим в спальней и пишем в памятные книжки». О чем же в этот раз и потом? О приезде гостей, о поездках – на сговор, на свадьбу, просто в гости без повода. Кроме бытовых картинок, нарисованных не очень искусным пером, как будто ничего в дневнике нет. Нет раздумий, только внешняя канва событий. О чтении книг – одна-единственная запись: «Я теперь читаю книгу Тургенева, работать нечего». То есть по дому все сделано; вероятно, родители возлагали на дочь определенные обязанности, но какие – об этом писать, по ее мнению, незачем. И какая это была книга Тургенева, какое произвела впечатление, мы никогда не узнаем.

Но все же не дешевое чтиво, а Тургенев. Пример единичный, но позволяющий предположить, что читала Евлампия Красильщикова, когда было «работать нечего», и другие произведения настоящей литературы, неважно, как часто. Среди представителей молодого купечества конца XIX века встречались люди начитанные, знакомые с лучшими художественными произведениями, с «толстыми» журналами. Но известен и такой факт: купец Андрей Иванович Миндовский сжигал попадавшие ему в руки «еретические» книги, которые читал его сын (знавший, например, наизусть «Горе от ума» Грибоедова), и чуть ли не сжег ему однажды руку; тот прятался от отца и в конце концов сбежал из родительского дома. Когда это случилось, точно не знаю, но

Глава третья

незадолго до 1886 года. Как видим, обстановка в доме Евлампии Красильщиковой была другой, она могла писать и читать беспрепятственно, хотя мы не знаем, насколько образованными были ее родители.

Записи вначале частые и очень обстоятельные. В конце каждого года: «Прощай, старый год», в начале нового: «Новый год, принеси нам счастье, Господи помоги» – формулы, внушенные с детства религиозным воспитанием. Искреннее религиозное чувство так или иначе выражено на всем протяжении дневника. Позже хронологические промежутки между записями становятся все более продолжительными. Осталось много незаполненных страниц. Может быть, пропало желание записывать? Вряд ли. Видимо, регулярно отмечать все факты и события стало просто некогда.

Молодость бабушки была беззаботной. Сестру Машу выдали за Константина Николаевича Сорокина, который, как мы знаем, подарил новой родственнице записную книжку и такую же Маше. Запись от 15 января 1886 года – с подробностями, так что описанную сценку легко представить. Возможно, это дата события, а запись сделана позднее, как и в других случаях. «В этот день мы ехали в Красное, везли невесту. Мамаша и Маша ехали в возке, и им бесперечь делалось дурно, и им Донат Николаевич Сорокин давал апельсины. Потом в повозку сели Лида, я и Вера. Мы взяли на дорогу одну бутылку портвейна и дорогой пили. Сначала запоём: «Товарищ, дай руку, попоём, попоём, попоём и горькую разлуку скорей вином запьем» – и все вином облились, потому что было очень неловко наливать в рюмку. Было очень весело ехать». Поясню: Вера – двоюродная сестра, Лида – племянница, дочь ее старшего брата Феди, но всего на год моложе бабушки ...

Ехали из села Родники, где был дом родителей, об этом дальше. Не знаю, из какой песни приводятся строки, должно быть, из забытого, но популярного тогда городского романса. Возвращались со свадьбы тоже «очень весело». Опять «дорогой пили и песни пели». Заночевали в Плёсе; на другой день поехали домой. Кучер ушел, «Лида взяла вожжи и села на колени на облучок и стала сама править. Я [стала] кричать, Саша – свистеть ...».

Правда, сама свадьба бабушке не очень понравилась, потому что «кавалеров было всего два». Подробности свадебного об-

ряда она не описывает, как и застолье, поскольку к тонкостям кулинарии была, по видимому, равнодушна, по крайней мере тогда (к более позднему времени относятся два рецепта, как мариновать грибы и ягоды, тщательно переписанные в конце записной книжки). Так что для современного ученого-этнографа большой «поживы» сверх уже известного здесь нет. Разве что описаны в другом месте подробности ухода за ней, я процитирую их дальше, они о женихе бабушки, тогда ей еще не знакомом.



Б.М. Кустодиев

«Очень весело» – постоянный рефрен записей первых лет. Только ли по причине молодости Евлампии Красильщиковой или жизнерадостность была свойством ее натуры? Как одна из первых читательниц дневника позволю себе поделиться с читателями этой книги впечатлением, сложившимся у меня, когда текст был наконец расшифрован. Своим настроением, ощущением вечного праздника бесхитростные бабушкины записи напоминают мне написанные несколько позже, в начале 1900-х годов живописные полотна Бориса Кустодиева. Художник, по его же словам, провел в Кинешме и ее окрестностях в общей сложности десять лет, точнее, десять летних сезонов. Эти годы он считал одними из лучших в своей жизни. Многие из того, что Кустодиев там увидел, он изобразил на своих полотнах.

А ведь все это каждодневно видела и бабушка, так или иначе в тех событиях участвовала. Между записями дневника и сюжетами картин Кустодиева есть прямое соответствие. Ярмарка – именно в Кинешме. Гулянье – на кинешемском приволжском бульваре. Масленица с катанием на тройках. Купание. Чаепитие. И так далее. Правда, Евлампия Васильевна художнику не позировала, и не с нее он писал своих красавиц-купчих. В кустодиевское время она – уже мать большого семейства.



Б.М. Кустодиев. Гулянье на Волге

Впервые в эти места художник, уроженец Астрахани, приехал еще будучи студентом петербургской Академии художеств, осенью 1900 года. Поселился с товарищами на окраине села Семеновское-Лапотное Кинешемского уезда. В некоторых книгах о Кустодиеве вторую половину названия – «Лапотное» – почему-то стыдливо опускают; вид этого большого села представлен на двух открытках изданной в начале XX века кинешемской серии, сохранных тетей Леной, дочерью Евлампии Васильевны.

Художник знакомился с городом, о первых впечатлениях писал невесте: «Ходил сегодня по Кинешме, все смотрел – очень красивый городок, с такой типичной “местной физиономией”. Особенно хорошо за рекой, где две церкви такой странной формы. Хочу завтра пойти туда написать этюдик». (Вспоминается, как в «Бесприданнице» Лариса говорит Карандышеву: «Я сейчас все за Волгу смотрела, как там хорошо, на той стороне...»; но я не уверена, что Кустодиев имел в виду Волгу, возможно, речку Кинешемку в городе, за ней действительно стояли несколько церквей.) И еще одно впечатление художника – о базаре: «Ума



Село Семеновское-Лапотное

помраченье по краскам – такое разнообразие и игра». Черно-белые видовые фотооткрытки того времени передать это не могут. О картинах Кустодиева Александр Бенуа выразился очень нестандартно, как умел только он: «варварская драка красок»! (Очевидно, это ни в коей мере не осуждение, не критика собрата по объединению «Мир искусства».)

Кустодиев был не первым художником, облюбовавшим этот район. Еще в 1888 году в Плёс впервые приехал И.И. Левитан писать пейзажи, потом возвращался еще на два лета, в 1889 и 1890 годах. Возможно, он встречал много раз бывавшую в Плесе молодую Евлампия Доброхотову. Или, кроме природы, его ничто в Плесе не занимало?..

А ярмарка в Кинешме, проходившая дважды в год, в июне и сентябре, отличалась не только своим колоритом. В хозяйственной жизни волжского города она была важным, может быть, важнейшим событием, и в жизни семьи Евлампии Васильевны тоже. На страницах дневника местная ярмарка упоминается часто, наряду со всероссийским торжищем, Нижегородской ярмаркой (бабушка пишет не «на ярмарке», а «в ярмарке»). О Нижегородской (Макарьевской) ярмарке современник писал, что вичужане «ее любили и опасались. Ее ждали с волнением и надеждой. О ней много думали и говорили и в деловой жизни, и в

Глава третья

досужие часы праздничного отдыха»⁶. (Возможно, кинешемцы к своей ярмарке относились так же.)

Продолжим чтение дневника. 14 марта 1886 г. «Верочка и я сегодня ходили гулять на кладбище, был очень теплый день. Ходили по насту; так как снег был не плотным, мы постоянно вязли в снегу и очень смеялись, с сугробов катились кувырком. Пришли домой все в снегу, ботики, полные снегу, и подола у платьев тоже были хороши. Это было на третьей неделе, в пятницу, Великого поста».

25 мая 1886 года, снова в Красном. «... На сговоре и на свадьбе было очень весело, у невесты гостили барышни, в числе их гостила Маша шуйская Михайлова, я с ней была очень дружна. В день сговора за ужином кавалеры и барышни сидели за отдельным столом. Кавалеры нас угощали вином... Они больше относились с разговором и угощением ко мне и Маше Михайловой, а красновским барышням было очень завидно на это. Все барышни ходили мыть в баню невесту и пили все вино, плясали, было очень весело. На свадьбе было тоже весело. На второй день ...ездили кататься на лодке, потом с молодыми ездили на лошадях на пустынную гору, там очень хорошо, лес...». Гостили на этот раз две с половиной недели.

О том, что пили вино, бабушка сообщает в дневнике довольно часто, откровенно – и с удовольствием. Главным образом это случилось в годы девичества, в связи с чужими свадьбами, но и после своей тоже. Посмотрев на свадьбу в доме Анны Михайловны Красильщиковой, бабушка вместе с подругами вернулась в родительский дом, он рядом. «Рюмочка за рюмочкой да и понапились. Я взяла потихоньку бутылку мадеры, ушли в другую комнату, туда и ходили выпивать втроем – я, Липа и Хрестина, все плясали, пели песни, было весело. Потом начало дам рвать, а мы стоим да хохочем». В нескольких местах говорится о том, как «хлобысну-ли», «хлобыс[т]али» (поясняется: «то есть пили вино», слово, видимо, новое, непривычное). И еще: «Вера у меня ночевала две ночи., я позвала ее выпить и вместо настойки мы выпили перцовки, не знали, куда деться, весь рот изорвало, а после смеялись».

Выпивали и позже, мадера, портвейн – эти вина не только известны, но и доступны. Совсем не похоже на утверждения неко-

⁶ Миндовский Вл. Вичугская фабричная сторона (Бытовые очерки и заметки). Кострома, 1919. С. 14.

торых современников, описывающих купеческий быт в тех краях, что женщин лишь допускали к закусочному столу «пригубить». Тем не менее о злоупотреблении напитками говорить не приходится, «понапились» – явное преувеличение. В дневнике нет и намека на то, что родители как-то наказывали своевольную дочь.

О чаепитиях в дневнике сообщается гораздо чаще, много-много раз – дома, в саду, в гостях, в лавке (магазине), на «откосе» (на волжском берегу), в роще, за Волгой и т.д. Например, после замужества: «...Я и Петя ходили гулять вечером, купили у Недопекина колбасы и ...стали пить чай в своей комнате вдвоем. В понедельник 2 числа все вчетвером ездили к Шиповым, там пили чай, а во вторник ездили к Марье Алексеевне Хлебниковой, там тоже пили чай». На нескольких более поздних фотографиях, снятых летом в саду кинешемского дома бабушки, компании за небольшим столом: столы разные, но всегда на столе самовар. И снова вспоминаются картины Кустодиева, его купчихи, с наслаждением чаёвничающие. Не столь уж оригинальная традиция, но традиция. В моей семье она всегда усердно поддерживалась. О том, от кого она унаследована, долго напоминали два самовара, один из светлого металла, другой – из красного, «медный», круглый.

О судьбе одного из них – грустные строки из писем тети Лены сестре, моей маме, в трудное время, больше чем полвека спустя. 21 апреля 1942 года: «Какая тяжелая жизнь, на душе одно беспокойство и забота о питании...». 28 апреля: «Теперь ты пишешь о самоваре, конечно, меняй, продавай, только бы удалось. У нас ведь есть мамины вещи, но они сейчас не имеют той цены, как бы следовало, как ты думаешь?..». Видимо, самовар был тогда все-таки продан. Другой, круглый, остался у нас и служил, по крайней мере, до середины 50-х годов и не только для чая; я помню, как варили в нем яйца. А еще я школьницей выглаживала на горячей поверхности самовара ленты для своих кос: это было быстрее, чем пользоваться утюгом, еще не электрическим, электрического у нас тогда не было.

Раз уж зашла речь о бабушкиных семейных ценностях, скажу, что они выручали нас и до войны, и во время войны, и после нее. В первой половине 30-х гг., в Чусовой, на Урале, мы сбывали их в «Торгсине» и благодаря этому не голодали. Отдельные вещи все-таки в моей семье остались, например, серебряная солонка с



Б.М. Кустодиев. Купчиха за чаем

забавной назидательной надписью «Без соли и хлеба – половина обеда» и с совсем маленькой ложечкой для соли. О других вещах расскажу дальше...

Читая и перечитывая дневник бабушки, в записях ее наедине с собой, я почти не обнаружила отрицательных или даже грубых (ведь никто не увидит!) отзывов о ком-либо из многочисленной родни и знакомых. Из самых резких – о жене дальнего родственника: «Какая она смешная и нехорошая». Еще один отзыв, свидетельствующий об умении схватить в облике не одни лишь внешние черты: «... Был Полин сговор, жених мне ее не нравится, лицо какое-то лакейское и хромой». Нельзя, наверное, считать такими уж отрицательными слова о навязчивом ухажере: «Он очень весел и большой чудак, с ним танцевала одну кадсель

(так!) и лянсте, и вместо ужина мы даже сидели рядом, он очень меня просил, чтобы я села, а мне ничуть не хотелось.., мне было очень смешно на него [смотреть]». «Лянсте» – правильно, согласно словарю: ланстье – вид все той же кадрили.

Любопытно, какие подарки дарили бабушке в дни ее молодости родственники, кроме известной нам записной книжки. На именины в 1887 году – 100 руб. (Мамаша), 25 руб. (муж Петя), серебряный стаканчик (жена деверя Ивана Петровича), белый шелковый шарф (сестра мужа). Другой раз – альбом (подарила крестная, «он всем очень понравился»).

Об одном подарке нужно сказать особо, хотя он и как будто меньшей ценности, чем перечисленные вещи, и в дневнике не упомянут. Если снова обратиться к «Бесприданнице», то там купцы Кнуров и Вожеватов собираются в Париж на выставку, это еще 70-е годы. Так вот – тот подарок, о котором я хочу сказать, хранится в нашей семье до сих пор, а тогда, вероятно, это был иностранный дешевый «ширпотреб»: кружечка голубого стекла с изображением белой краской архитектурной новинки, Эйфелевой башни, сооруженной, как известно, в 1889 году, к Всемирной выставке в Париже. Башня украшена флагами. Она еще не стала повсеместно узнаваемой, поэтому имеется надпись по-французски: Tour Eiffel. С выставки или чуть позже привез этот сувенир (согласно преданию, выигранный в лотерею) отец Петра Петровича Доброхотова, свекор бабушки. В нижней части полукругом обрамление из цветов, в которое поместили две русские буквы «П» и «Д». Конечно, это сделано не в Париже, а уже в России (в Кинешме? Москве?), другой краской, более тусклой.

Эту кружку подарили бабушке вместе с двумя, увы, выброшенными при очередном переселении бронзовыми канделябрами и сохранившейся металлической вазочкой. Они тоже, я думаю, были французского происхождения и тоже выиграны. Старший Доброхотов имел сомнительную славу игрока и чаще проигрывал (это со слов мамы)... Но ведь и много чего рассказывал по возвращении из Парижа, мы можем теперь это лишь констатировать как несомненный факт. В дневнике, однако, ничего об отце мужа не сообщается, вероятно, к началу записей его уже не было в живых.

Глава четвертая

Пути-дороги

Яркая, радостная живопись Кустодиева, которую я то и дело вспоминаю, читая дневник, восполняет в моем воображении литературное несовершенство и краткость записей. При том что мне представляется несомненным, как я уже писала, сходство тона, мироощущения, доброе отношение к людям.

Какой же «домашний быт», если характеризовать его обобщенно, представлен в дневнике и в картинах живописца? В советское время искусствоведы писали о Кустодиеве, что он запечатлевал патриархально-крестьянскую и мещанско-купеческую, «уходящую Русь» с ее архаическими жизненными устоями, еще уцелевшими к началу XX века в селах и захолустных городках вроде Кинешмы. В его картинах – соединение гротеска и лирики, иронии с растроганным любованием «красотой умирающего быта»⁷.

Отчасти так оно и есть, но для искусствоведения рассуждение, по-моему, излишне социологично. Что, впрочем, еще не так давно было обязательным. И вопрос: считал ли сам художник эту Русь «уходящей»? Ведь эта формулировка была придумана Горьким не для Кустодиева, а для произведений другого художника, Павла Корина, и позже, чтобы его поддержать, оградить от несправедливой критики.

С тем, что мещанско-купеческие жизненные устои были «архаическими», можно согласиться. Понятно, что Кинешма начала XX века не Петербург, откуда приезжал летом Кустодиев. С одной оговоркой, мне кажется, важной. Выстраиваемый (не Кустодиевым!) при таком понимании истории России ряд художественных произведений, дополненный литературными образами Островского и Лескова, помогает увидеть в истории провинции главным образом то, что оставалось на протяжении долгого времени неизменным. Это важно. Однако изменения происходили, не могли не происходить. И «мещанско-купеческий» дневник моей бабушки кое-что об этом сообщает. Корректируя

⁷ Петров В. «Мир искусства». М., 1975. С. 28.

тем самым представление об абсолютной «неподвижности» провинциального быта, подорванное уже исследованиями историков.

Возникает и такой «крамольный» вопрос: захолустье ли Кинешма и ее окрестности в 80–90-е годы XIX века, то есть в то время, к которому относится большая часть записей в дневнике? И тем более позже? По тому, что рассказывала мне мама о своих юношеских интересах и тех, кто ее окружал, у меня сложилось иное впечатление. Правда, это более позднее время, чем отраженное в дневнике бабушки. Так что однозначно на такой вопрос не ответишь. Территориально, если просто посмотреть на карту, – все-таки не захолустье или не совсем захолустье. Провинция, но не такая уж «глубокая».

С помощью дневника, как ни кратки записи бабушки, можно выяснить, каковы были связи Кинешмы с внешним миром, с большими городами, каковы интенсивность и характер контактов жителей этого края. И тем самым косвенно составить некоторое представление об их кругозоре.

Если исходить из того, что важнейший признак цивилизованности страны, региона, населения – дороги, то их, как известно, в России проклинают и по сей день. В начале XIX века П.А. Вяземский отмечал, что в дни его молодости «в Московской губернии в осеннюю и дождливую пору дороги были совершенно недоступны», в Москву подмосковные помещики отправлялись за 20–30 верст верхом⁸. А спустя сто лет, в 1931 году в Малой советской энциклопедии (тоже мамино наследство) писали, что в Ивановской области «шоссе в плохом состоянии». Тема вечная, идеал всегда кажется недостижимым. В то время, о котором идет речь, о шоссе только мечтали. Однако же положение постепенно менялось, особенно после отмены крепостного права. Перемены были заметными, об этом говорит и дневник, он фиксирует относительно новое, ставшее уже привычным.

Судя по дневнику, разъезжали бабушка, ее родные и знакомые постоянно. Куда же они держали путь и как туда добирались? Причем, направляясь не только гостить, отдыхать и развлекаться, как Евлампия Васильевна еще в «барышнях», но и по необходимости? Замечу, что о практических целях, с какими совершались поездки, сообщается односложно («покупать товар», «тор-

⁸ Вяземский П.А. Старая записная книжка. М., 1929. С. 89.

Глава четвертая

говать на базар», «по делу»). Или вовсе ничего не говорится. Ясно, что ее в такие дела не посвящали или сама она этим не интересовалась. Но подтвердить текстом дневника, что в гости купцы и их дети ездили и ходили редко и преимущественно в случаях торжественных, не могу. Скорее, наоборот, гостили часто.

На основании того, что есть в дневнике, приведу перечень мест, в каких они бывали чаще всего. Это ближайшие к Кинешме и Родникам Красное, Плёс, Юрьевец, подальше Рыбинск – все на Волге, Вичуга, Шуя (туда ездили с Мамашей шить платье и «ватерпруф», по-видимому, летнее пальто, характерно, что это английское название известно, его не требуется объяснять), Иваново-Вознесенск, город с 1871 г., но в дневнике везде по-прежнему Иваново (куда едут, например, лечиться и по коммерческим делам). Разумеется, и губернский город Кострома. Из более отдаленных городов – Нижний Новгород и Москва. К Москве тяготели города всех губерний Центрального промышленного района. Значение Нижнего также выходило за рамки одной Нижегородской губернии. И везде Красильщиковым – Доброхотовым есть, где остановиться, даже на большой срок и не в нанимаемых «номерах».

Ездили и в места сравнительно отдаленные, если в том возникала необходимость. Константин Николаевич Сорокин с женой Машей однажды отправились в Кронштадт «к о. Иоанну молиться, чтобы он [то есть Сорокин] не пил; когда она оттуда приехала, поехала в Родники гостить, а он без нее и запил, должно быть, от нечего делать». Поездка в Кронштадт оказалась напрасной, но факт показательный: священник Иоанн Кронштадтский приобретает в это время всероссийскую известность как праведник и проповедник. Выйдя замуж, бабушка побывала с мужем в Киеве, провели там четыре дня, «говели, везде помолились очень хорошо», – записала она. Поездки, удовлетворяющие религиозные потребности, – явление частое.

Еще более отдаленным исключением можно назвать Крым, куда в 1887 году отправили на отдых дочь (?) брата Феди Сашу с кухаркой и еще с каким-то сопровождающим, потом поехал и он сам, человек состоятельный. Возможно, это был их первый приезд, но, как видно из позднейших открыток, присылавшихся в Кинешму, не последний. Такие поездки – доказательство имущественной состоятельности выше среднего уровня и не только

кинешемского. Еще одно исключение: мы уже знаем, что не только купцы, но и кинешемские мещане бывали в Париже...

Если же говорить не об исключениях, а о постоянных связях жителей края, нужно иметь в виду тогдашние возможности, степень удобства путей сообщения, старых и новых. В своем регионе, помимо обычного, повседневного, конного транспорта (лошади свои или «ямские»), бабушка, ее родственники и знакомые часто и охотно пользуются пароходом. О таких поездках, о проводах на пароход, например, родителей, о встречах с кем-то на пристани бабушка всегда пишет с удовольствием («было очень хорошо»).

Волга остается и в пореформенный период главной транспортной артерией. Но, как известно, не круглый год. В дневнике в нескольких местах немногословно, как всегда, описывается погода, обещающая открытие пароходного сообщения, по тону записей заметно, что все ожидали его с нетерпением: 1888 год – «24 марта тронулся лед, у нас видно из окна, этот день четверг, на третьей неделе Великого поста». 1889 год: «Пароходы нынче пошли 10 апреля». «1896 год, лед тронулся 13 апреля, пришел первый пароход с верху, буксирный; погода холодная, сильный ветер; ходят в ватных и драповых пальто». Набор пронумерованных открыток с видами Кинешмы начала XX века включал в себя виды пристаней и сооружение гавани в устье реки Кинешемки.

В одной из ранних записей сказано, что ездили повидаться с родственниками «на пристань самолет»; слово это написано без кавычек. Самолеты в современном понимании этого слова тут ни при чем, время авиации, даже первых, показательных, полетов воздухоплавательных аппаратов, собиравших массу зевак, еще не настало. В 1911 году подруга моей мамы В. Зеленцова напишет из Нижнего Новгорода: «...Идем смотреть полет Васильева» (видимо, это фамилия авиатора) и вслед за этим совсем другое: «Завтра утром едем в Саров» – очень разные, но одинаково интересующие девушку и ее родственников объекты посещения. Никто не подозревает, что общедоступный Саров в недалеком будущем превратится в засекреченный «Арзамас-16». А «Самолет» из бабушкиного дневника – название пароходной компании, одной из нескольких, обслуживавших пассажиров, оно было известно всем волжанам.

Глава четвертая

Герой «Бесприданницы» Островского (сочинения, написанного на десять лет раньше начала дневника) Паратов хвастливо рассказывает, как хотел обогнать «Самолет» на своей «Ласточке» и обогнал бы, если бы не струсивший машинист-голландец, побоявшийся, что паровой котел не выдержит гонки, взорвется. И купец Вожеватов, покупающий у Паратова «Ласточку», заявляет, что она резво бежит, шибче «Самолета». В фильме Протазанова это захватывающее «соревнование» изображено. Только выигравшая соревнование «Святая Ольга» носит придуманное сценаристами название. Бабушка приводит в дневнике названия реальных пароходов: «Петр Первый», на котором ездили в Кострому, «Магдалена» – на нем возвращались из Нижнего Новгорода, с ярмарки.

Прочитав второе название, мы с мужем сразу вспомнили знакомую со студенческих лет песенку про «Дон» и «Магдалену» – корабли, что ходят всегда по четвергам из ливерпульской гавани к бразильским берегам... Значит, были все-таки и реальные суда под такими названиями, неважно, речные или морские, и они «увековечены».

Однако возвращаюсь к берегам волжским. По рассказам мамы, когда она была гимназисткой, во время лодочных прогулок у молодежи считалось высшим шиком подплыть возможно ближе к проходящему по Волге пароходу. Наверное, девчонки визжали от удовольствия. А в бабушкины времена? Скорости были меньше и соответственно меньше риска. Но все равно, риск был, а главное – вряд ли родители тогда разрешали детям такое баловство.

Есть в дневнике и непонятное с первого раза наименование – «зевекенский пароход». Правильно ли написано? И – в любом написании – что это такое? Оказывается, по инициативе управляющего Камско-Волжским паровым обществом А.А. Зевеке в начале 70-х годов на Сормовском заводе стали строить двухэтажные пароходы по типу американских с американскими же названиями – «Миссури», «Ниагара», «Ориноко»; они были сравнительно тихоходными и грузовыми. Но после этого стали надстраивать и пассажирские пароходы.

Обозначение парохода «Самолет» продержалось в речи жителей края долго, видимо, пока существовала компания. В 1912 году тете Лене, дочери Евлампии Васильевны, тогда гимназистке, ее, по-видимому, подруга писала: «Едем, Самолет Тверской,

который будет в Юрьевце в 12 часов ночи» (кстати, компания «Самолет» была учреждена в 1854 году как раз в Твери, а ликвидирована, как и другие капиталистические предприятия, в 1918 году).

А грунтовые и прочие дороги? Воспользуюсь данными из книги Л.В. Кошман о городской жизни в России XIX столетия, о мещанстве – «забытом сословии» российских городов (забытом историками, полагает автор, но современник – публицист Н.П. Дружинин имел в виду забвение нужд мещанского сословия государством и общественностью)⁹; я на этот труд уже ссылаюсь. Эти данные имеют и более широкое значение, применительно не к одному только мещанству. В конце 50-х – начале 60-х годов XIX века офицеры Генерального штаба, видимо, извлекая уроки из печального опыта Крымской войны, выясняли состояние почтовых трактов в России по каждой губернии. Положение дел в Костромской губернии было не самым плохим: шоссейных дорог нет, но почтовое сообщение разветвленное; дороги связывают Кострому как с другими губернскими городами, так и с уездными городами губернии, в том числе с Кинешмой.

Вероятно, как и везде, качество грунтовых дорог в губернии оставляло, мягко говоря, желать лучшего. Может быть, и по этой причине трудно было налить вино в рюмки в возке, который вез еще незамужнюю Евлампию Красильщикову в Красное? Впрочем, дело было зимой. С другой стороны, возок – крытая повозка, не карета, хоть и на полозьях. Но иногда она прямо пишет: «дорога очень плоха». Или с облегчением: «установилась саночная дорога». Автор одного из отчетов – по Смоленской губернии – нашел необходимым специально отметить, как обстоит дело с мостами через встречающиеся речки, он писал, что мосты устраиваются крестьянами ежегодно на весну, а потом ими же разбираются, крестьяне «в отсутствие сознания общественной пользы» рубят перила и растаскивают настилку (так в отчете)¹⁰. Вряд ли в Костромской губернии было иначе.

О железных дорогах в провинции до отмены крепостного права вопрос, вообще, не вставал. Сама их необходимость многими, в том числе высокопоставленными особами, оспаривалась, подобно тому как это было поначалу и на родине железных дорог, в

⁹ Кошман Л.В. Указ. соч. С. 182–183.

¹⁰ Там же. С. 391.

Англии, приводились доводы, которые теперь кажутся диковатыми. Дочь Николая I великая княгиня Ольга Николаевна писала в своих воспоминаниях по поводу самой первой в России общедоступной железной дороги, на кратчайшее расстояние в 23 версты между Петербургом и Павловском, что «враги этого предприятия были неисчислимы»¹¹. После появления первой «чугунки» число их не убавилось.

Вероятно, отсюда иронический скепсис Пушкина в «Евгении Онегине»: успехи «благого просвещения» по части дорог он видел лишь в распространении шоссе («шоссе Россию там и тут, соединив, пересекут»), но не раньше, чем «лет через пятьсот», «по расчисленью философических таблиц». Что за таблицы? Может быть, Пушкин подразумевал под ними предсказания астрологов? Правда, всезнающие пушкинисты утверждают, что имеется в виду книга французского ученого – современника Пушкина с таблицами и что пессимизм поэта относился не к техническому прогрессу, включая развитие транспорта, а к «благому просвещенью» в целом¹².

Спорить не буду, толкование этого места применительно именно к дорогам, возможно, и неточное, но оно привычно, причем о железных дорогах у Пушкина, вообще, речи нет. Может быть, потому, что он не дождался открытия первой «чугунки», которое состоялось 30 октября 1837 года. Ему не довелось увидеть, как «веселится и ликует весь народ» (слова поэта Кукольника, положенные на музыку композитором Глинкой). И прочитать в «Санкт-Петербургских ведомостях» выражение наивного восторга: «Шестьдесят верст в час – страшно подумать!».

Между тем после объявления Манифеста об освобождении крестьян прошло всего лишь десять лет, шоссе в Костромской губернии еще не появились, зато в 1871 году железная дорога связала Кинешму с Москвой. Потребовала этого в первую очередь экономическая необходимость. Для Евлампии Васильевны поездка по железной дороге уже обыденность. В Москву она ездила таким образом не раз, и не только обычным прямым путем, через Иваново-Вознесенск. С мужем они как-то возвращались домой из Москвы поездом сначала до Ярославля, потом пароходом через Кострому, чтобы продлить путешествие по воде, все-таки,

¹¹ Николай I. Муж. Отец. Император. М., 2000. С. 257.

¹² Лотман Ю.М. Пушкин. СПб., 1995. С. 693–694.

видимо, более приятное. Надо думать, удобными справочными сведениями из записной книжки относительно железных дорог она пользовалась.

Москва привлекает Доброхотовых и людей их круга, во-первых, возможностями приобретения разнообразных товаров, предметов потребления высокого качества, которых не найти ни в Кинешме, ни в Костроме, а также возможностями закупки оптом товаров для сбыта (перепродажи) у себя. Во-вторых, Москва притягивает отсутствующими в провинции зрелищами, да и сама первопрестольная для провинциала, даже приезжающего неоднократно, – зрелище. Пусть «сорок сороков» – преувеличение (на самом деле было 416 православных храмов и 26 монастырей), но облик и размеры Москвы несопоставимы ни с уездными, ни с губернскими городами. В Москве имеется каменная застройка, не характерная для провинции (кроме церквей), хоть и далеко не сплошная, и не так уж много осталось времени до начала строительного бума в Москве на рубеже веков, когда стали строиться дома в четыре-пять этажей. И, наконец, поездки дают возможность повидаться с живущими в Москве родственниками.

В дневнике описывается подробнее, чем другие, поездка Евлампии Васильевны в Москву в сентябре 1886 года. Отправились в сопровождении брата Феди. Поездка была насыщенной, на целых две недели, впечатлений много. У Лиды, двоюродной сестры, упоминавшейся ранее, где бабушка останавливалась на половину этого срока (вероятно, в доме Феди, отца Лиды, Федора Васильевича Красильщикова) она «провела время весело, каждый день пили кофе с сыром, сидели в спальне и разговаривали». О чем, как всегда, не сказано. Кроме того, ходили за покупками в пассаж и другие магазины: купили туфли, шляпы, ткань на шубу (купили «трека по 5 руб.»). Были с Федей в совсем недавно, в 1883 году, сооруженном храме Христа Спасителя (москвичи обычно говорили – Храм Спасителя, так же у бабушки), молились еще у Иверской.

Успели также за эти две недели побывать в театрах, интерес к ним несомненный. Слушали вшестером, вместе с московскими родственниками, «Жизнь за царя» в Большом театре, вероятно, оперой Глинки театр открывал, как было принято, новый сезон. Посетили спектакли в Малом театре и театре Корша (в коротком

Глава четвертая

списке московских театров, напечатанном в записной книжке, этого частного театра еще нет, он открылся в 1882 году). Правда, названия пьес – «Тетеньки» (у Корша), «Клеймо» (в Малом) – нам теперь ничего не говорят. Времени покопаться в историко-театральной литературе у нас не нашлось.

В дневнике отмечен также факт как будто не театральный, но, как увидим, имеющий отношение к театру: среди гостей, которые нанесли визит в последний день пребывания бабушки в Москве, был Николай Михайлович Красильщиков. Речь о нем впереди, но не на основе дневника, где, кроме этого единственного упоминания, больше ничего об этом человеке нет. Опять непонятно, почему. Но я уже примирилась с тем, что мой интерес не совпадает с интересом бабушки...

Выберу из дневника сказанное еще о нескольких поездках в Москву, не обо всех. Уже с мужем «поехали в Москву покупать летние вещи, ...были в Эрмитаже». Посетив снова Москву и пробыв там неделю, Евлампия Васильевна купила себе два пальто, две шляпы, материю на платье, была «в цирке, во дворце и музее», наконец, «была там у всех родных»; «это было на четвертой неделе Великого поста». Таким образом, основные компоненты посещения первопрестольной остаются теми же, что и в описанную выше двухнедельную поездку.

Но – какой дворец, какой музей? Может быть, Исторический музей, открытый, как и Храм Христа Спасителя, в 1883 году, ко дню коронации Александра III? Или картинная галерея купца Павла Третьякова, переданная Москве в 1892 году, но и до этого открытая для бесплатного обозрения ежедневно? Не выработалось привычки к точности наименований, а жаль. И еще одно недельной продолжительности посещение Москвы: «...были у Севрюгова, на выставке, в театре. Я отдала там шить шубу плюшевую [с] цветами».

Свой театр в Кинешме открылся только в конце 1897 года на основе музыкально-драматического кружка после долгих запретов губернской администрации. И вроде бы резонный довод привел высланный (!) в Кинешму инженер Петин, друживший, между прочим, с артистом Малого театра и драматургом А.И. Сумбатовым-Южиным (Петин составил прошение губернатору): «театр отвлечет фабричных рабочих от кабаков, положительно повлияет на смягчение грубых нравов». Но и этот довод

не сразу подействовал¹³. Не знаю, как рабочие, а бабушка в первые годы кинешемский театр посещала, это видно из дневника. Театр сразу получил имя А.Н. Островского, как и просили ходатаи, но в качестве театрального помещения нашелся лишь мучной склад. Первой была поставлена пьеса Островского «Бедность не порок».

Вернемся назад: «Пишу мая 20, этот год, то есть 1886 г., для меня идет очень скоро». При дальнейшем чтении это «ускорение» становится заметно и мне. В дневнике рассказывается, как в том же 1886 году 12 октября, по приезде из Москвы, на свадьбе двоюродной сестры Веры Шиповой, проходившей в доме Красилицыных, Евлампия Васильевна познакомилась с одним из двух шаферов жениха, будущим своим мужем. Описание в отличие от других детальное, ввиду важности события.

«Венчание началось в 5 часов, а бал кончился в 4 часа утра. Я очень много танцевала с Доброхотовым, и мне он очень жал руку. Когда я с ним танцевала кадраль, он меня спросил, люблю ли я играть в игры, например, в веревочку или в свои соседи. Я ему сказала, что терпеть не могу. И я, говорит, тоже не люблю. Немного погодя стали играть в веревочку. Немного поиграла и ушла в свою комнату, а он увидал, что меня нет, сказал Хрестине: не стоит играть, а она и говорит, конечно, не стоит. И потом ушел, она мне это передала. Когда я стала танцевать с ним последнюю кадраль, я его спросила, весело ли провел этот вечер, а он говорит: очень весело и приятно, в другом месте так бы не мог провести весело. Я спросила: почему? А он только и сказал: так ... За ужином я сидела напротив его, он начал первый кидаться хлебом... Он мне очень понравился, и он за мной очень ухаживал, так что все заметили».

Я не сумела выяснить, что это за игры, названные в приведенном отрывке и одинаково не любимые Евлампией и будущим женихом. Но, должно быть, и такое сходство вкусов сыграло свою роль. К тому же он был на два года старше. Далее есть запись о том, как играли в карты, «в стуколку» с той же Хрестиной Парской (кто это с таким странным именем – Хрестина, Хретья, опять же выяснить не удалось; Парское – ближнее село): «я выиграла 2 рубля», в другом месте – «играли в карты, в домино», эти игры считались более «взрослыми» ...

¹³ Мезенин Я.М. Кинешма. Путеводитель-очерк. Ярославль, 1980. С. 40.

Глава четвертая

С 8 декабря «жених ходит ко мне целую неделю, подарил кольцо и четыре коробки конфет». Снова две недели в Москве – на сей раз ездили покупать приданое, Евлампия Красильщикова не бесприданница и замуж выходит по любви. Приданое везли, впрочем, не на тридцати-сорока подводах, как у иных тамошних богатых купцов, выдававших дочерей замуж. «Весело» прошло и благословение родителей 28 декабря, за две недели до свадьбы, в присутствии гостей. В Новый год устроили вечеринку, был жених, 4 января «барышни рядились, ... ходили все барышни и я ряжеными к Михаилу Ивановичу...». «Время я в невестах провела очень весело», – радостно заключает Евлампия Васильевна. «Очень веселая» была и свадьба, она прошла 11 января 1887 года, с ней в дальнейшем критически сравниваются другие свадьбы, на которые ее приглашают, например: «свадьба была невеселая, не как у нас».

Дневник пишется для себя, так что, рассказывая о разных событиях, бабушка далеко не всегда поясняла, например, неизвестную постороннему, но ей-то хорошо известную степень родства упоминаемых в записях лиц. Разобраться в этом сейчас непросто, часто невозможно. О родителях, как правило, только так: Папаша, Мамаша. Потом уже выясняется, что отца звали Василием Степановичем, а мать – Анной Тимофеевной (?).

Ничего или почти ничего не сообщала бабушка, чем занимались, на что жили те, кого она в дневнике называла – по одному лишь разу или многократно. Можно понять, что некоторые ее родственники служили по найму, занимая, по-видимому, хорошо оплачиваемые места. Но это положение непрочное. Например, о дяде мужа: «И[сааку] Прок[офьевичу] Разореновы отказали от места» (этот родственник с таким редчайшим среди православных именем, Исаак Прокофьевич Доброхотов, значится в более позднем списке гласных уездного земского собрания, должно быть, его положение поправилось; всего в списке трое Доброхотовых).

Имеется сходная запись: «Такое горе: сгорела фабрика «Ветка», боятся, чтобы не отказали Семену Ивановичу от места» (это случилось в 1888 году). Фабрика «Ветка», принадлежавшая Разореновым, находилась в Кинешме. Туда, к Семену Ивановичу Королеву и Верочке, жившим, вероятно, при фабрике, «на ветку», Доброхотовы не раз ездили в гости, возвращаясь с фабричной окраины в центр города на лодке.

Глава пятая

Красильщиковы и Доброхотовы

Далее я привожу в основном сведения, отсутствующие в дневнике, но необходимые, чтобы представить с должной полнотой и разносторонностью общую картину бытия моих предков. Можно предполагать с достаточной степенью уверенности, что в значительной части эти сведения были бабушке известны, хотя в дневнике их нет. Я их почерпнула из исторической литературы, воспоминаний. И из маминых рассказов про две линии семейств – Доброхотовых и Красильщиковых, мещанскую и купеческую. Об их знакомых, а также о некоторых других купцах-фабрикантах она тоже мало, но рассказывала. Вместе с цифровыми показателями (вот они-то бабушке были наверняка неизвестны) все эти сведения характеризуют развитие края в конце XIX – начале XX века – часть начинавшейся в России индустриализации, повлекшей за собой далеко идущие последствия для различных групп населения.

В книгах о сословном составе населения дореволюционной России всегда говорится о том, что самой многочисленной частью тогдашних горожан являлись мещане, второе по численности после крестьян сословие. За ними следовали купцы, но их было гораздо меньше. В уездных городах Костромской губернии к началу 60-х гг. XIX века мещане составляли 62 % населения, больше, чем в Костроме, где мещан было 48 %, так как в губернском городе более высокой была доля чиновников, служивших в губернской администрации, и дворян, предпочитавших жить в центре губернии.

Это не значит, что в Кинешме нельзя было встретить дворян. Об одной дворянке, правда, незначительной, кое-что мы прочитаем и в дневнике. Но были и знаменитые. К кинешемскому дворянскому роду, известному с середины XVI века, принадлежал видный сановник Анатолий Николаевич Куломзин, последняя его высокая должность – в 1915–1917 годах – председатель Государственного совета. В молодости, которая пришлось на эпоху великих реформ, он был мировым посредником по Кинешемскому уезду, о чем написал впоследствии воспоминания.

Как видно из календаря-справочника, накануне революции его сын Яков Анатольевич был уездным предводителем дворянства и председателем уездной земской управы и, хотя имел придворное звание камер-юнкера, проживал в Кинешме. Старший Куломзин жил, понятно, в столице, на Фонтанке, тем не менее он тоже значился гласным кинешемского земского собрания. Умер он в 1923 году в эмиграции, близ Марселя. О судьбе сына я не знаю.

Но чаще встречались среди жителей города дворяне обедневшие, вроде вдовы Огудаловой из «Бесприданницы». Когда-то вокруг Кинешмы находились сплошь дворянские имения и принадлежавшие дворянам земли, но после 1861 года почти все они перешли в руки купечества. Купцы прибрали к рукам и часть крестьянских наделов, путем обмена лучших земель на худшие. К переменам в экономической жизни края в пореформенное время дворянство прямого отношения не имело. За некоторыми, правда, исключениями: Куломзин, остававшийся крупным землевладельцем губернии (4 тысячи десятин родовой земли и 8 тысяч приобретенной), одним из первых стал использовать в своем имении фосфориты.

Кинешма превосходила Кострому и как промышленный и торговый центр, мещане были заняты, хотя и меньше крестьян (напоминая, по сословной принадлежности), и на фабриках, и на пристанях, и в ремесле, но больше всего в торговле. Подобное превращение доли мещан в населении уездных городов над губернскими наблюдалось в большинстве губерний европейской России¹⁴. Видимо, без учета того, что кинешемские фабрики находились за официальной городской чертой (об этом уже говорилось, когда шла речь о численности населения Кинешмы). Вообще из всех хлопчатобумажных предприятий Костромской губернии вне городов находилось свыше 95 %, они занимали 91 % рабочих и давали 90 % продукции, в этом отношении окраины Кинешмы не отличались от фабричных сел¹⁵.

У купечества и мещанства в центральных русских губерниях был общий корень – крестьянство. Согласно семейному преданию, Доброхотовы происходили из крестьян и прозывались раньше Киселевыми, но один из них счел почему-то эту фами-

¹⁴ Кошман Л.В. Указ. соч. С. 180–181.

¹⁵ Иванова Н.А. Промышленный центр России 1907–1914 гг. М., 1995. С. 150.

лию неблагозвучной и подал прошение на высочайшее имя о ее замене, таков был порядок. Наверное, к мещанскому сословию они уже тогда принадлежали или стали мещанами чуть позже. Пополнение мещанского сословия крестьянами было общим правилом, для приписки к нему требовалось внести в данное мещанское общество незначительный денежный взнос – от 25 руб. во второй половине XIX века до 100 руб. в начале XX века, тогда как для перехода в купечество нужно было объявить капитал, солидную сумму.

Фамильную черту наружности Доброхотовых, правда, не всех, – характерной формы носы – объясняли в семье тем, что с русско-турецкой войны кто-то (Киселев или уже Доброхотов) привез жену-турчанку. Совсем как у Шолохова в «Тихом Доне». Проверить достоверность этого семейного предания я не могу, опровергнуть тоже. Если так оно и было, то привезена была турчанка с войны более ранней, чем война 1877–1878 годов, слишком близкая к описываемым событиям. Но вот не предание, а подлинный факт, можно сказать, последствие той экзотической и романтической истории: в 1917 году в Москве пьяная компания погналась за дядей Володи, старшим сыном бабушки, приняв его, само собой, не за турка, а за еврея...

Из четырех братьев и сестер, детей Евлампии Васильевны, внешне пошли в отца старший, Володя, и младшая, моя мама, а средние, Леня и Лена, унаследовали черты Красильщиковых.

О родственных связях Евлампии Васильевны моя мама в своих рассказах советского времени предпочитала не распространяться, и не случайно. Отец бабушки Василий Степанович принадлежал к обширному семейству или, правильнее сказать, к роду фабрикантов Красильщиковых, был купцом 2-й гильдии, владел бумаго-сноровальной и красильной фабрикой в селе Родники. Правда, сильно уступавшей фабрике, которой владели с 1888 года там же, в Родниках, его родственники – братья Петр, Федор и Николай Красильщиковы. Василий Степанович и Михаил Антонович, их отец, были двоюродными братьями. Двухэтажные каменные дома того и другого в Родниках на Базарной площади стояли рядом (помните свадьбу, уйдя с которой Евлампия с барышнями «попились»?). На фотографии два эти дома не сильно отличаются друг от друга – показатель примерно равных «стартовых» позиций...



Василий Степанович Красильщиков с женой и детьми (1840-е гг.)

Родники находились по дороге из Иваново-Вознесенска в Кинешму, как раз на полпути, но немножко в стороне – туда от станции Горкино протянули позже, в 1897 году, железнодорожную ветку в девять верст, до этого ездили в Родники лошадьми. Фирма носила с 1894 года название «Товарищество мануфактур Анны Красильщиковой с сыновьями». Анна Михайловна Красильщикова была женой Михаила Антоновича. Жили их сыновья в Москве, не знаю, с какого времени, но уже в 90-е годы

Красильщики и Доброхоты



Москва. Красная площадь. Вид на верхние торговые ряды. 1893 г.



Москва. Театр Ф.А. Корша

они были очень богаты. В Москву к ним в числе прочей родни и приезжала Евлампия Васильевна, но как-то характеризовать их, хотя бы одной черточкой, не считала нужным. Узнать что-либо конкретное о братьях из ее дневника, увы, невозможно.

Часто упоминается в дневнике родной брат бабушки Федя, Федор Васильевич Красильщиков, также купец и фабрикант, про-



Москва. Страховое общество «Россия» на Лубянской площади

живавший в Москве. О нем уже шла речь, но и тут извлечь из дневника можно немного. Он владел фабриками, расположенными в Родниках и неподалеку от них, в деревне Юдинка, нередко наезжал в Родники и задерживался там значительное время. Например, сообщает бабушка, однажды, в ноябре 1887 года, брат Федя встретился с нею и другими Доброхотовыми на вичутском вокзале, все они ехали в Родники из Кинешмы, а он из Москвы туда же, к фабриканту Ивану Александровичу Миндовскому «по делу». В Вичуге сошли со своих поездов и дальше «приехали с ним вместе» в одном экипаже в родные Родники. Приезжал Федор Васильевич и в Кинешму. Но какие это были дела? Как всегда, объяснения нет.

В списке гласных уездного земства много Миндовских. Эта фамилия (в которой – заметьте! – мама ставила ударение на первом слог) в Кинешме была хорошо известной. Ивану Александровичу (и членам семьи?) принадлежали фабрики в Вичуге, Кинешме, Юрьевце и Наволоках, паи в пароходных компаниях, доходные дома в Москве, да еще до 20 тыс. десятин пашен, лугов и лесов в разных уездах, купленных у местных землевладельцев – дворян. Так же, как другие крупнейшие предприниматели этого края, они жили главным образом в Москве. Накануне революции Николай Иванович Миндовский был гласным кинешемского земства, но в списке гласных указан адрес его московского «офиса»: Ильинка, Шуйское подворье – так же, как

у А.И. Коновалова: Старая площадь, дом Московского страхового общества (страховое общество «Россия» – это здание, где при большевиках обосновалась ВЧК, в просторечии «Лубянка»).

Московский особняк И.А. Миндовского, прекрасный образец вошедшего в начале нового века в моду стиля «модерн», построил в 1903–1904 годах на Поварской архитектор Л.Н. Кекушев. Позже Ф.О. Шехтель, самый известный в Москве архитектор того времени, построил в Георгиевском (ныне Вспольном) переулке особняк И.И. Миндовской, вероятно, дочери, дом поскромнее. Оба дома в новейшей литературе о памятниках московского зодчества указаны и показаны, только о владельцах особняков историки архитектуры ничего не сообщают, мы с мужем, во всяком случае, не нашли. Французский писатель Луи Арагон, приехавший в Москву в 1930 году, с удивлением отметил, что особняков в стиле «модерн» в столице советской России больше, чем в Париже. Наверное, по Москве его возил кто-то из знающих москвичей.



Москва. Особняк И.И. Миндовского на Поварской

Среди особо выделенных Луи Арагоном зданий – «особняк Миндовских на углу Поварской», в архитектуре которого, как и в здании Ярославского вокзала работы Шехтеля, «ясно обнаруживаются русские национальные истоки этого искусства», что, добавлю от себя, наверняка отвечало вкусу заказчика¹⁶.

Между тем и Миндовские не всегда были богаты, они происходили из дворовых крестьян. На волю вышли, выкупившись у помещика Глушкова, отставного штабс-капитана и кавалера. Произошло это задолго до отмены крепостного права, еще в 1820 году. К концу века имя помещика было забыто, но в сундуке у одного из потомков первого Миндовского, получившего «вольную», продолжали хранить этот документ на гербовой бумаге. В документе было записано, что Миндовский с семейством отпускается «в вечно на волю, оставив жить в прежнем его владении», с приказом по вотчине (то есть крепостным односельчанам) его, вольного уже Миндовского, «отнюдь не трогать и никаких обид и притеснений ему не чинить и приказ таковой исполнять всему миру нерушимо»¹⁷.

Какую сумму получил Глушков, не сказано. Известно, что прадед А.И. Коновалова Петр Кузьмич Коновалов, родоначальник знаменитой в будущем фирмы, выкупился с семейством на волю у помещика Хрущева за 2400 руб., это было чуть позже, в 1827 году. Портрет Хрущева всегда висел у Коноваловых в парадных комнатах. Но вольная Миндовского была составлена на актовом листе «для письма крепостей до 1000 руб.», стало быть, Глушков запросил более низкую цену. Объяснить почему, теперь трудно. Может быть, потому, что Миндовские были дворовыми людьми, не очень знающими и нужными? Отпуская их на волю, помещики не могли вообразить, насколько превзойдут капиталы бывших крепостных суммы, уплаченные ими в виде выкупа.

Так что общие дела с Миндовским-младшим, на которые в дневнике бабушки имеется лишь намек, характеризуют косвенно и Федора Васильевича Красильщикова. Встречаются в дневнике и такие детали: «этот год Федя с семейством жили на даче в Перервах» (так!), другое лето – в Царицыне; «в Москве наняли квартиру на Полянке» ...

¹⁶ Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1998. С. 94–95, 104–109, 275.

¹⁷ Миндовский Вл. Указ. соч. С. 7.

Тема материального положения, условий труда и быта рабочих, занятых на фабриках, в дневнике отсутствует, хотя весьма сомнительно, чтобы бабушка, живя в Родниках, совсем ничего о их жизни не знала. Вероятно, в то время она воспринимала социальное неравенство и вопиющую разницу в уровне жизни как норму. Комплексом вины в связи с этим она не страдала. Проводившееся в 1879 году обследование фабрик в Родниках показало, что на фабрике Василия Степановича



А.И. Коновалов

рабочий день продолжался четырнадцать часов, зарабатывали рабочие от 1 руб. 25 коп. до 1 руб. 50 коп. в неделю, многие из них ночевали на фабрике, прямо у красильных котлов¹⁸.

В акте ревизии не было сказано о женщинах и детях, применение их труда законодательство ограничило только в 1882-м и 1885 году, причем фабрикантов невозможность впредь эксплуатировать самую дешевую категорию рабочей силы не обрадовала.

Условия на фабрике В.С. Красильщикова не были исключительными, напротив, скорее, широко распространенными в этой главной отрасли русской промышленности, работавшей на массовый внутренний рынок. Известный впоследствии московский фабрикант и общественный деятель Сергей Иванович Четвериков вспоминал, как на Городищенской суконной фабрике в Подмосковье, унаследованной им после смерти отца в 1871 году, рабочие из отдаленных деревень тоже ночевали под ткацкими станами. Правда, работали они не четырнадцать, а двенадцать часов, а младший Четвериков решил установить 9-часовой рабочий день и отменил – еще до законов 80-х годов – ночные работы женщин и малолетних. Это вызвало неудовольствие

¹⁸ Красильщиков А.П., Сафронов В.Д. Фабриканты Красильщики. М., 2000. С. 27.

Глава пятая

фабрикантов-соседей, они обратились с жалобой к министру финансов Рейтерну, который «ввиду новизны этой меры» разрешил ее лишь как временную.

Это говорило, конечно, не о том, что одни фабриканты были от природы добрыми, а другие злыми. Да, разной была степень просвещенности, гуманности, отзывчивости к чужой нужде, но и возможности были неодинаковы. Фабриканты типа Четверикова, или Коновалова, или братьев Красильщиковых осуществляли у себя на фабриках много всевозможных мероприятий в интересах рабочих, целые социальные программы, получившие уже тогда всероссийскую известность. Кстати, Коновалов, помимо основных предприятий в районе Вичуги (село Бонячки, ранее Вонячки, понятно, почему), владел в Кинешме фабрикой «Каменка», на одной из открыток можно видеть, как она выглядела внешне.

Но сегодня, когда возродился интерес, интерес законный, после многих десятилетий забвения, к их филантропической деятельности, не все понимают простейшее обстоятельство: первоклассные предприятия такого типа были в России исключением, и их владельцы отдавали себе отчет в том, что другие фабриканты, хозяева множества мелких и средних предприятий с куда более скромными доходами были не в состоянии перенять их опыт.

В Костромской губернии удельный вес мелких предприятий в хлопчатобумажной промышленности составлял 13,8 %, сред-



Кинешма. Фабрика «Каменка» А.И. Коновалова

них – 32,5 %, и число их продолжало расти. К 1914 году в одной лишь Кинешме действовало 68 фабрично-заводских заведений. Подсчитано, что во всем Центральном промышленном районе среди единоличных владельцев предприятий 26,5 % составляли крестьяне, не перешедшие в другие сословия, 28,6 % – купцы, 10,8 % – мещане, 6 % – почетные граждане (6,3 % – дворяне, 3,8 % – иностранные подданные)¹⁹.

Вероятно, после ревизии на фабрике В.С. Красильщикова что-то там изменилось, но насколько? Точных сведений на сей счет у меня нет. По-видимому, эта небольшая фабрика – 60 рабочих – была продана после его смерти в 1889 году и перешла к основной ветви Красильщиковых. После этого до конца XIX века заработки текстильщиков Центрального промышленного района выросли на 10-15 %, но это в среднем и они оставались значительно более низкими, чем у рабочих той же отрасли в Петербурге, не говоря уже о рабочих металлообрабатывающей промышленности, самых высокооплачиваемых в России.

В 1905 году о рабочих фабрики упомянутого уже Миндовского (напоминаю, фабриканта не мелкого, наоборот) газета «Костромская жизнь» писала, что они «ходят бледные, точно встали из могилы», и что материальная и санитарная обстановка их жизни и труда «ниже всякой критики». А вот послеоктябрьское свидетельство одного из Миндовских, Владимира, уже не предпринимателя, а бытописателя, человека, как мне кажется, типа «кающихся дворян». Правда, без указания точного времени, к которому свидетельство относится, но явно о том, что он сам видел. В число нищих, пишет он, «входила, как ни странно, значительная часть местных фабрично-заводских рабочих и [членов] их семей», рабочие получали «такое ничтожное денежное содержание, что существовать на него не представлялось зачастую никакой возможности. Поэтому приходилось подкармливаться подаванием милостыни с купеческой кухни».

Воспоминания того же Вл. Миндовского дают представление о разнообразии и противоречивости индивидуальностей предпринимателей, по-видимому, это сведения пореформенных лет. Это тоже немаловажный момент, характеризующий сочетание старого и нового в социальном развитии. Андрей Иванович Миндовский, суровый и деспотичный в семейном быту (это от

¹⁹ Иванова Н.А. Указ. соч. С. 145, 276.

него вынужден был сбежать тянувшийся к знанию сын), отличался сверхестественной, «плюшкинской», скупостью. Но, когда дела его пришли в упадок, он взял всю вину за расстройство дел на себя и неукоснительно выплачивал долг выделившемуся младшему брату, детям и внукам.

Широкую известность в округе получил щедрый дар Глеба Ивановича Миндовского (видимо, брата А.И.) церкви в упоминавшемся уже селе Парском – серебряные царские врата, невиданные в скромных сельских храмах. Но все знали, что фабрикант избежал таким образом суда за оскорбление местного священника, которого он обругал, проезжая мимо села и будучи под хмельком, возвращаясь с Введенской ярмарки в Шуе. Если бы не этот дар, пострадала бы репутация Миндовского, он хлопотал как раз в это время о потомственном почетном гражданстве. Священник согласился на мировую, а канцелярия кинешемского суда заявила, что заведенное дело сгорело.

Были еще в Вичугском районе, по сведениям, которые сообщил Вл. Миндовский (наверное, и в районе Кинешмы тоже), наряду с проявлениями благотворительности и щедрости, примеры расточительности, мотовства, причем и со стороны представителей тех же семей, в том числе Коноваловых²⁰.

О братьях Красильщиковых, сыновьях Анны Красильщиковой, передавшей им в 1888 году дело, которым она управляла властной рукой с 1875 года, написано, особенно в последние годы, довольно много, соответственно масштабу предприятия, крупнейшего не только в Родниках. Имеется обстоятельное исследование, проведенное одним из потомков Красильщиковых А.П. Красильщиковым в содружестве с краеведом В.Д. Сафроновым на основе собранного ими обширного и разнообразного материала; эта книга мне очень пригодилась. И в советское время, в начале 30-х гг., главная родниковская фабрика занимала первое место среди предприятий союзного значения в Ивановской области.

Расцвет фабрики начинается с конца 80-х годов XIX века, то есть с момента передачи ее сыновьям. В течение десятилетия она увеличила выработку вдвое. Источником богатства владельцев, миллионных их доходов был «одежный товар, который славился своим черным цветом, не линявшим при стирке», это был, как

²⁰ Миндовский Вл. Указ. соч. С. 9, 16, 18–19, 21–22, 23–24.

говорили тогда, «черный хлеб», то есть товар, нужный всем, раскупавшийся нарасхват. Еще в 1879 году на фабрике трудились около 600 рабочих, в 1890 году – уже свыше 2 тыс., в 1900 году – свыше 5 тыс., а в 1914 году – свыше 8 тыс. Между тем жителей в Родниках, по данным всероссийской переписи населения 1897 года, было всего 4 тыс., следовательно, работали в основном приплатные рабочие из соседних деревень. Родники были типичным фабричным селом, получившим статус города лишь в 1920 году.

Первым рассказал о братьях Красильщиковых П.А. Бурышкин, автор написанной в эмиграции и перепечатанной в начале 90-х годов на родине книги «Москва купеческая», отсюда приведенная выше цитата о «черном хлебе». Как сообщает он, в Москве братья держались особняком, в родстве со старыми московскими фамилиями не состояли и в других домах мало где бывали. Но отец Бурышкина Афанасий Васильевич сделал карьеру именно на их родниковском предприятии. До 1882 года он служил в этой фирме, потом завел собственное торговое дело – фирму «А.В. Бурышкин», кстати, с женой и дочерью в составе правления, а сын Павел, окончивший последовательно Катковский лицей, юридический факультет Московского университета и Московский коммерческий институт, начал свою карьеру не так, как отец, – его секретарем по общественным делам. Понятно, что чувствовал себя младший Бурышкин интеллигентом и имел на это все основания.

Н.М. Красильщиков «был в приятельских отношениях с моим отцом, – пишет П.А. Бурышкин в “Москве купеческой”. – Он и его жена бывали у нас; бывали и мы у них, в доме на Моховой (бывшей Базановке), где они жили последнее время». Имеется в виду дом, купленный Н.М. Красильщиковым в 1906 году на имя жены (ранее дом князей Шаховских, городская усадьба напротив Дома Пашкова, в советское время там долго помещался Музей М.И. Калинина, потом филиал Музея революции, а теперь находится филиал Российской государственной библиотеки, бывшей



П.А. Бурышкин

«Ленинки»). До этого они жили в Родниках (?), и, возможно, Евлампия Васильевна видела их и там, а не только в свои приезды в Москву.

Ясно, что автор «Москвы купеческой» располагал о Красильщиковых достаточным количеством сведений. Но нужно иметь в виду его замысел, книга была полемически направлена против одностороннего изображения русского купечества как «сборища плутов и мошенников, не имеющих ни чести, ни совести». Он убедительно доказывает, во-первых, что дореволюционная Россия обязана купечеству, вернее промышленникам, принадлежавшим к купеческому сословию, успехами в начавшейся индустриализации. И во-вторых, что среди представителей купеческого мира было немало людей образованных и разносторонних.

В разделе книги, посвященном Красильщиковым, он решал вторую задачу. Подчеркнул, между прочим, что их прозвали в Москве «американцами», но не за деловую хватку, а почему-то за умение следовать правилам светского этикета. Выделяя из всех братьев младшего «американца» – Николая, Бурышкин не касался его талантов предпринимателя (Николай был директором-распорядителем, то есть стоял во главе управления фабрикой), его благотворительной и культурно-просветительной деятельности, не сообщил он и о том, что в 1911 году указом Николая II потомственный почетный гражданин и мануфактур-советник Н.М. Красильщиков был возведен в потомственное дворянство. Для Бурышкина – так же, как и для другого «продвинутого» капиталиста, Рябушинского, – это уже не предмет гордости.

Бурышкин пишет совсем о другом таланте младшего Красильщикова, о том, что отличало его от прочих успешных предпринимателей. Он обладал исключительным по красоте и силе тенором – такого, утверждает Бурышкин, не было даже у Карузо, – и пользовался большим авторитетом в московских оперных кругах. Достаточно сказать, что, по свидетельству Собинова, ничьи советы не были ему так ценны, как советы Николая Михайловича Красильщикова. Нельзя назвать его просто любителем, он получил настоящее музыкальное образование в Италии. Но все предложения контрактов для гастролей по всему миру он отклонял, не только потому, что деньги были ему ни к чему, но прежде всего из-за органической неспособности петь перед публикой, хотя бы самой немногочисленной. Даже у себя

дома он мог петь для гостей не иначе, как из соседней пустой комнаты²¹.

Любовь Николая Красильщикова к музыке не являлась чем-то исключительным, одаренными музыкантами были, к примеру, С.И. Четвериков и А.И. Коновалов (в эмиграции он даже успешно концертировал как пианист). Несомненно, что культурно-просветительные мероприятия в Родниках носили отпечаток личности Н.М. Красильщикова, их размах определялся его связями с художественными кругами в Москве. Полный документированный отчет об этих мероприятиях с указанием всех спектаклей и концертов для рабочих содержится в книге о Красильщикомах. Отмечу лишь, что в 1903 году был основан Народный дом, на сцене которого, наряду с другими спектаклями, дважды, в 1905 и 1910 годах, ставили «Бесприданницу», другие пьесы Островского тоже.

Знала ли обо всех этих особенностях родственника Евлампия Васильевна? Вероятно, знала. Вероятно, знали и ее дети; до революции здесь нечего было «засекречивать», хотя эта часть родни и принадлежала к кругу более статусно высокому и более культурному, чем круг постоянного общения Красильщикомах – Доброхотомах. Костромской губернатор, официально представляя в 1910 году Н.М. Красильщикова на возведение в потомственное дворянство, отметил между прочим, что «поездки за границу и самообразование, как в науках, так и в искусствах, дали ему внешний облик высокообразованного и воспитанного человека». Фабрика в Родниках считалась лучшей «по отношениям, установившимся между хозяевами и рабочими» и «самой интеллигентной» (как это надо понимать?), о ней говорили как об «уголке Европы»²².

²¹ Бурыйшкін П.А. Москва купеческая. М., 1990. С. 193–195.

²² Красильщиков А.П., Сафронов В.Д. Указ. соч. С. 176; Полищук Н.С. Благотворительная деятельность фабрикантов в сфере просвещения и организации досуга рабочих (конец XIX – начало XX в.) // Доклады вторых морозовских чтений. Ногинск (Богородск), 1996. С. 141.

Глава шестая

Обустройство молодоженов

Нетрудно понять, почему в советские времена моя мама не считала нужным рассказывать обстоятельно, со всеми отлично ей известными подробностями о таких людях. Тем более о родственниках. Тем более обобщать и подчеркивать положительные моменты. И, вообще, распространяться об исчезнувшей навсегда русской буржуазии. Известно, что предприятия братьев Красильщиковых в Родниках национализировали 19 октября 1918 года, а их самих революция разметала в разные стороны. С прочими фабрикантами произошло то же самое.

Между тем мать Евлампии Васильевны, моя прабабушка («Мамаша» по дневнику), была из семейства Севрюговых – хозяев фабрики в Кинешме. Фабрика «наследников Севрюговых» изображена на одной из открыток начала 1900-х годов в числе местных достопримечательностей. Совсем ничего не сообщить о них мама не сочла возможным. Когда я была уже взрослой, она говорила о том, что и они, крупные предприниматели, о своих рабочих заботились, тоже сократили рабочий день до девяти часов, открыли медицинский пункт, ясли, устраивали праздники и т.д. Вероятно, эти сведения относятся к тому времени, когда мама училась в гимназии, в предреволюционные годы. Были у нее и личные впечатления, маленькой она была на елке, видимо, устроенной в народном доме при фабрике Севрюговых, ей запомнилось, что все было очень красиво. Вдобавок я теперь знаю, что Николай Павлович Севрюгов состоял членом совета женской гимназии (сведения из упоминавшегося уездного календаря-справочника).

Согласно более поздней записи в дневнике, «Маша с Леной ... ездили на фабрику к Севрюговым», «они строят дом себе»; эта городская усадьба сохранилась. Ездили Красильщikovы к ним и в Москву. Стало быть, в результате брака моего прадедушки и прабабушки породнились две семьи фабрикантов – Красильщikovы и Севрюговы. Можно предположить, что для не столь богатого мещанина Петра Доброхотова партия с дочерью



Кинешма. Фабрика наследников Севрюговых

В.С. Красильщикова была завидной, мещанство, составлявшее большинство горожан, сближалось в его лице с ближайшей городской элитой, купеческой. Точнее, верхушка мещанства, ибо в массе своей мещанство состояло из людей бедных, и, как писали в начале XX века, «большинство мещан, ложась спать, удивляется, как они прожили день. Просыпаясь, они не знают, как проживут следующий». Это, конечно, не о Доброхотовых.

В «Бесприданнице» Островский подчеркивает, что совсем молодой Вожеватов уже по костюму европеец – в отличие, например, от старика Кнурова, который каждое утро «бульвар меряет взад и вперед» «для моциону»; богатство позволяет ему не придавать особого значения тому, как он выглядит. В привычной, хотя и не затрапезной, одежде – на фотографии – и отец Евлампии Васильевны, когда она еще маленькая девочка.

Но в конце XIX – начале XX века, если судить по фотографиям, такие мещане, как Доброхотовы, мужчины и женщины, своим внешним видом, одеждой уже не отличаются от представителей купечества того же поколения. Разумеется, перед выходом или выездом для фотографирования в ателье, в Москве ли, в Кинешме наряжались и те и другие. Но, как отмечали современники, и на центральных московских улицах, например, на Кузнецком мосту на рубеже веков публика приняла усредненный, как говорили,



Петр и Евламия Доброхотовы. Москва. (1887 г.)

космополитичный вид, и жителя Москвы нельзя было отличить от петербуржца²³.

Имел значение – для основной массы мещанства – и правовой момент: до 1904 года мещане, как и крестьяне, считались «бывшими податными сословиями» и могли подвергаться те-

²³ Давыдов Н.В. Пятидесятые и шестидесятые годы XIX столетия // Ушедшая Москва. Воспоминания современников о Москве второй половины XIX в. М., 1964. С. 6–7.

лесным наказаниям, до 1906 года они были прикреплены к мещанскому обществу данного города, и оно до 1900 года могло исключать своих «порочных» членов с последующей их ссылкой в Сибирь.

Петр Петрович довольно скоро, в 90-е годы, становится купцом. В дневнике это важное событие не отмечено, но в мамин-ном аттестате об окончании Кинешемской женской гимназии, которому, думаю, вполне можно доверять, говорится, что она, Александра Доброхотова, «как видно из документов, дочь купца»; документы фиксировали сословие, «состояние», а не деятельность лица. Так что это не тот случай, когда, согласно законодательству, приобреталось купеческое (гильдейское) свидетельство на торгово-промышленные занятия на определенный срок с сохранением своего сословного звания.

Вернемся к дневнику бабушки, он позволяет составить представление о самом существенном из того, что последовало за ее бракосочетанием с Петром Петровичем. Я перескажу более бегло те страницы, где говорится о совместной, в общем, еще благополучной жизни Доброхотовых, и приведу несколько характерных цитат. Январь 1887 года «...Сегодня Вознесенье, 25 число, второе воскресенье, как я замужем». Март того же года: «Петя ездил в Вичюгу., мне было очень жаль его отпускать, я заплакала...» (потом к постоянным его разъездам она привыкла). Июль 1887 года: «До Петрова дня была очень теплая погода, каждый день ходили купаться, два раза в день, у нас своя купальня... Нас застал в купальной дождь и гром, дождик был сильный, оттуда пришли все мокрые...».

Сначала Доброхотовы снимали квартиры, потом устраивали дом, арендованный в январе 1888 года на двадцать лет у Поленова («заключили контракт», «сделали условие»). У Поленова же купили «все, что есть у него в кладовой»: «мебель, посуду, железо и прочее, все за 350 руб.». «...Мы все и приказчики ходили в дом Поленова, выбирали себе спальные, в этот день не торговали, были там от часу и до четырех. Очень я устала и хотелось есть, как пришли, так и стали обедать...». Отказались даже от традиционных забав: «...Совсем не видала ряженных, никого у нас не было, мужчинам очень много дела с домом, так что и некогда». Зато по случаю новоселья и именин мужа – «праздник», «было визитёров 42 человека».

Имя и отчество домовладельца не указано. Вряд ли им был тот ученый-геолог Поленов, дальний родственник известных художников, в усадьбе которого гостил в начале 1900-х гг. Кустодиев, портрет семьи которого он рисовал в 1905 г. и у которого приобрел участок земли для дома-мастерской «Терем». Вероятно, это другой Поленов, старше ученого, но связанный с ним родством.

Прожили Доброхотовы в арендованном доме меньше трех лет, он сгорел во время большого пожара в Кинешме летом 1890 года. Незадолго до этого, 4 июня «Мамаша переехала к нам жить, с Федей разделилась... Дай Бог, чтобы все было благополучно и счастливо». А 15 августа «в 4 часа дня сделался сильный пожар, сгорел весь город, также и наш дом. Мы, слава Богу, все именье спасли в палатке. Сначала мы жили у Шиповых одну неделю, а потом поселились наверху нашей лавки, там жили до 11 декабря». «Именье» – здесь это слово означает имущество. Пожар вспыхнул на кинешемском базаре по неосторожности торговли пирогами, он действительно нанес городу, всем его жителям большой ущерб. Был жаркий, ветреный день, искры и даже головни долетали до противоположного берега Волги.

Новый, собственный пятистенный двухэтажный бревенчатый дом построили на Московской улице на средства «Мамаш» быстро, за три месяца. Бабушка пишет, что дом каменный, но, видимо, имея в виду фундамент. «30 августа была у нас закладка дома, а 28 ноября совсем кончили постройку – как дом, так и подворную постройку. 16 декабря, в Николин день служили в соборе молебен, а в 11 часов утра пили чай в доме первый раз, ... заказали заздравную обедню и молебен с акафистом [в доме] и потом начали все вещи, которые были над лавкой, переносить. ... Господи благослови всем в этом доме устроиться и пожить... 23 числа был у нас дома молебен, подняли иконы». Акафист – для тех, кто не знает – это хвалебное песнопение, которое исполняют все присутствующие стоя. Наружная часть дома на Московской, снятая из сада, видна на многих фотографиях, сделанных позже, но еще до революции.

Записи 1891 года начинаются словами: «Дай Бог, этот год провести в радости и добром здравьи». Описывается, как налаживали торговлю, Евлампия Доброхотова, несмотря на семейные заботы, принимала в этом участие, проводила в магазине целые дни, и записала в дневнике после первого такого дня: «... В среду 21 числа торговала, мне очень понравилось». Некто

И.И. Коковин, наверное, более опытный коммерсант, «показывал нашим, как писать книги торгового дома». Бабушка сообщает в дневнике, что лавка была «большая», а иногда называет ее магазином.

Таким образом, пожар не подорвал торговое дело Петра Доброхотова. В значительной мере благодаря участию «Мамаши». Об этом говорит факт покупки за 10 тыс. руб. «Райкова» на Волге, о котором лишь сказано, что ездили туда в первый раз от пристани на пароходе, а потом «на кляче и всю дорогу смеялись» и что «там очень хорошо»; вернулись домой к вечеру, так что от Кинешмы это недалеко. Видимо, потом это приобретение (усадьбу, дачу?) продали. Но пока возможность безбедной и радостной жизни обеспечена по-прежнему. «... В Нижегородскую [ярмарку] Петя был в Нижнем, а мы все – я, Маша, Шиповы, Вера, Саша, Хретья, Нелидов – ездили на лодке за Волгу так гулять». «Время на святках провели весело, ходили к нам ряженые, и мы танцевали до упаду... Катались на тройках и опрокинулись».

Из двух записей 1888 года можно узнать, что в Кинешме имелся клуб. Такого типа заведения в подражание столичным и губернским, центры досуга, где собиралось местное «приличное» общество, имелись далеко не во всех уездных городах.



Нижегородская ярмарка. 1912 г.

Обеспеченным мещанам, торговцам они были доступны. Здесь, как и во всех других клубах того времени, играли в карты, но тогда еще Доброхотовы приходили в клубы не за этим. «Я и Петя были в клубе, там был любительский спектакль. Дамы все были без шляп, в шерстяных платьях». Значит, еще до открытия в Кинешме десять лет спустя театра настоящего там уже ставили спектакли силами любителей; одним из таких любителей и был основатель театра упоминавшийся уже Петин.

Но вот какие спектакли? И понравилась ли игра? О первом посещении клуба в феврале: «...Представляли [?] очень плохо. Мы не досидели до конца, ушли домой». О впечатлении от спектакля второй раз, в октябре, ничего не сказано, возможно, раз зрители не ушли до окончания спектакля, любители играли лучше.

При том, что молодожены, вероятно, были прежде всего поглощены собой, несомненно, устойчивый интерес к искусству они проявляли, пусть вкусы у них еще невзыскательные. До этого, в августе 1887 года, во время посещения Евлампии Васильевны с мужем Нижегородской ярмарки брат Федя, как пишет она, «угощал» их «театром и ужином». На сей раз в дневнике тоже никаких сведений о спектакле. Во время ярмарки зрелищ и увеселений в Нижнем хватало. Кроме театра, цирк, в трактирах «слушали, как поют», в ресторане «слушали рассказчика».

Если продолжить тему, уже затрагивавшуюся, – считать ли Кинешму и ее окрестности захолустьем, расширяется ли в конце XIX века кругозор людей мещанского и купеческого сословий, то заслуживают внимания и те места в дневнике, где отмечаются зрелища природные, вызывавшие всеобщий интерес.

Например, бабушка пишет, что 7 августа 1887 года «затмение солнца полное, мы глядели из террасы в закопченные стекла, видели очень хорошо, темно было минуты две». Никакого беспокойства или толков по поводу солнечного затмения, полного именно в этом районе России, севернее Москвы, по-видимому, в Кинешме не замечалось, во всяком случае в кругу, к которому принадлежала Евлампия Васильевна. Все-таки по сравнению со временем «Грозы» Островского общий уровень представлений горожан даже малых городов о мироздании уже не тот, у них более надежные источники знаний, чем рассказы, подобные рассказам странницы Феклуши.

Не исключено, что предупреждал кинешемцев о неопасности предстоящего явления природы приехавший в Кинешму астроном Ф.А. Бредихин или кто-то из тех, кто его сопровождал (в частности, его ученик и преемник на посту директора обсерватории в Москве П.К. Штернберг, посланный в Юрьевец; в советское время его больше прославляли не как ученого, а как комиссара, погибшего в Гражданскую войну). Тогда же они занимались просвещением обывателей – сами или через местных чиновников. Кинешемские места были Бредихину хорошо знакомы, усадьба его жены находилась за Волгой напротив города.

Попутное замечание. Бредихин был крупным ученым, он учился в Италии, был членом научных обществ Германии, Великобритании, Италии, Франции. Несмотря на это, в книжках, появившихся уже на исходе советской власти, в 1987 году, иные краеведы продолжали ставить ему в заслугу не астрономические открытия, а прежде всего якобы «непримиримую борьбу с иностранным засильем в отечественной науке», которой-де следует больше всего гордиться. Формула известная, скверные плоды послевоенного сталинского «просвещения наоборот» в ходе борьбы с «космополитизмом», против «преклонения перед иностранщиной» и т.п. Не знаю, следует ли удивляться тому, что в чьих-то мозгах эти плоды прочно застряли на всю жизнь, но думаю, это ничем не лучше феклушиных рассказов о Махмуте турецком и т.д.. Культурная деградация как следствие «культурной революции».

Но вернусь в 1887 год. В конце XIX века успокоительные разъяснения подействовали, естественно, не на всех жителей, все-таки сильно различавшихся по образовательному уровню. Хватало и совсем неграмотных. В Юрьевец приехал по тому же поводу из Нижнего Новгорода В.Г. Короленко, написавший «сцены с натуры» «На затмении» для газеты «Русские ведомости». В очерке, между прочим, сказано, что среди простой публики на пароходе распространялась брошюра «О солнечном затмении 7 августа 1887 года», однако же «большинство пассажиров третьего, а также значительная часть второго класса относились к ней сдержанно и даже с оттенком холодной вражды. Люди же “старой веры” избегали брать ее в руки и предостерегали других». Зато после затмения та же брошюра на пароходе живо ходила по рукам. Очевидно, что Евлампии Васильевны «призрачные страхи», по



*Петр Петрович Доброхотов.
Москва. (1890-е гг.)*

выражению Короленко, перед наступающим «концом света» не коснулись. Как и прямое нерасположение к «ученым», «остроумам» (то есть астрономам), какое наблюдал Короленко в Юрьевце и на пароходе до затмения²⁴.

В Кинешме основные места прогулок Доброхотовых, как и других жителей города, – бульвар над Волгой («прошли бульваром», «почти каждый день ходили на бульвар» – частые записи) и сосновая роща, заменявшая городской парк.

Они не забывают ни одного православного праздника, постоянно ходят в церковь, в собор «за обедню» (бабушка собор не называет, в Кинешме

их было два – летний Успенский, построенный в середине XVIII века, и Троицкий начала XIX века, на сохранившейся открытке он в лесах). С той же целью ездили нередко в Юрьевец. В мае 1887 года там «ходили в церковь, служили панихиду по Симоне Блаженном». В 1889 году «в сентябре с Мамашей были в Юрьевце, [в] Кривозерье и ездили ко Кресту молиться Богу» (имеется в виду Кривозерский монастырь на берегу Кривого озера, в советское время затопленный водохранилищем – «Горьковским морем», но оставшийся запечатленным на полотнах Левитана «Тихая обитель» и «Вечерний звон»). Нет, таким образом, никаких признаков приверженности «старой вере», старообрядчеству, явному или скрываемому от властей, к которому принадлежали соседи по Кинешемскому уезду – часть вичугского купечества, например, Миндовские и Коноваловы.

²⁴ Короленко В.Г. Собрание сочинений в 10 т. М., 1954. Т. 3. С. 54–71.

В том же году выяснилось, что «Петя очень много пьет вина и постоянно хворает, ему очень вредно», вероятно, раньше пристрастие мужа к выпивке от бабушки скрывали. «У меня теперь все болит сердце», – пишет она в связи с этим. Должно быть, по чьему-то совету отправились в село Раево под Москвой (станция Сергеево Курской железной дороги), где батюшка «лечил» Петра Петровича от запоя, отслужив два молебна. К записи об этом бабушка сделала позднее примечание, что «лечение» помогло, муж «не пил 10 лет, и жили хорошо, и торговали хорошо». Признанием успешности дел и тем самым авторитета П.П. Доброхотова в купеческой среде Кинешмы явилось его избрание в 1891 году старостой кладбищенской Александро-Невской церкви (вид этой церкви есть на одной из сохранившихся у меня открыток).

Отдельно от основного текста бабушка вела в дневнике хронике рождений и смертей родных, преимущественно детей, записи здесь краткие. Если запись о рождении, то, кроме даты, сказано, кто были восприемники, когда крестили. У первого сына Владимира в 1888 году восприемники Иван Петрович Доброхотов и Мамаша, у второго сына Леонида в 1891 году – Н.И. Коковин и А.П. Флягина, у дочери Елены в 1892 году – Федя и Маша. И так далее. Если запись о смерти, то от чего, сколько



Кинешма. Кладбищенская Александро-Невская церковь

Глава шестая

времени болели. Первая в этом ряду запись – о смерти в 1889 году отца, который «захворал в Нижегородской ярмарке»; болел один месяц, ему было 58 лет.

Евлампия Васильевна родила девять детей, но четверо умерли совсем маленькими: в 1894-м (двое), в 1895-м и 1899 годах и одна девочка в шестилетнем возрасте от скарлатины в 1902 году. Выросли четверо: Владимир, Леонид, Елена, Александра. Судя по тому, что говорится в дневнике о причинах болезней, особенно детских, с медицинским обслуживанием в Кинешме дело обстояло неважно.



Володя Доброхотов. (Начало 1990-х гг.)

Обустройство молодоженов

В таком же лаконично-цифровом виде (помните, дневник – это «памятная книжка»?) записи о ранних, дорогих материнскому сердцу «успехах» сыновей; цифры я перевожу в слова. Сначала: «Володя – мальчик лютой, скоро будет три месяца». Наверное, произносилось с ударением на первом слоге – «лютый», а подобное написание встречается еще не раз, например, «двенадцатой». Потом: «Володя стал сидеть и ползать шести месяцев, а ходить десяти месяцев, говорить двух с половиной лет. Леня стал сидеть и ползать восьми месяцев, и два зубка вырезались внизу тоже восьми месяцев, а десяти месяцев один зуб наверху, и девяти месяцев стал стоять дыбок и ходить около стульев, и десяти месяцев стал кланяться и делать ручкой такой короткой, толстенькой. 4 февраля 1892 года начал ходить первый день, значит, на одиннадцатом месяце. Леня отстал от рожка 18 мая 1892 года, году и двух месяцев».

И снова о старшем сыне: «...Очень лютой и понятливый мальчик, ему в Родниках хорошо, его любят». Это о моей прабабушке, «Мамаше», продолжающей жить в Родниках. Имелась и нянька Пелагея, с которой отсылали туда сына, о ней я еще напишу. Была ли еще прислуга? Не знаю, вполне возможно, но дом бабушки, как и дом прабабушки, не принадлежали к числу тех богатых купеческих домов, где, по свидетельству современников, например, того же Вл. Миндовского, одной только женской прислуги имелось самое меньшее человек двенадцать.



Кинешма. Вознесенская церковь

Глава седьмая

Семейная драма

Разбирая текст дневника, я дошла до тех его страниц, где собственный взгляд автора на свою жизнь, не только на радости, но и на горести, не могут заменить чьи бы то ни было наблюдения со стороны.

Беда для Евлампии Васильевны, для ее семьи пришла неожиданно-негаданно и потянула за собой шлейф несчастий. Об этом в дневнике рассказано детально, дается задним числом своего рода отчет, полный и вместе с тем взволнованный, отчет-исповедь, раскрывающий по-новому черты автора записей, черты страдающей женщины и матери. Так что эту часть дневника я приведу почти целиком, текстуально и лишь местами в пересказе.

«В 1899 году, с весны, что ли, уж не знаю хорошо, мой муж завел себе любовницу, вдову Назарову. Я ничего не знала, а в тот год он с ней ездил в Нижний на ярмарку ... за товаром, у нас тогда была лавка с красным товаром очень большая (красный товар – сукна, шелковые и шерстяные ткани, то есть товар не дешевый. – Н.В.), торговала очень хорошо. И он был там с ней две недели и начал пить вино, а он не пил целых 10 лет.

Дело наше стало падать. И в том же году, в июле был болен Володя, у него было воспаление брюшины и воспаление желудка, очень был болен, две недели лежал на одной спине, был при смерти. Лечили его два доктора Резвяков и Тутрин, московские, приехали они сюда на дачу. В сентябре муж опять ездил в Москву за товаром, однако уже покупать стал товар в лавку, который вовсе не нужен, потому что был расстроен, мучился. Я ничего не знала, а совесть его мучила. В то время у меня было пять человек детей... В октябре 18 числа родила сына Сергия...

В ноябре месяце 19 числа я к нему пристала, что, скажи, ты начал пить? Он сказал, что пьет. Я не знаю, что со мной и было. Меня так поразило, не могу даже описать. Но он сказал, ты не думай, я пить не буду. Но я, конечно, не успокоилась, только сама успокаивала себя, что свожу его опять к священнику, у которого лечился от вина 10 лет тому назад. 24 ноября он выехал в Москву

за товаром, и она опять поехала с ним в Москву. Я только не знала...

Числа с 18-го декабря он запил влѣжку, дома был, а 20 числа мне – был очень пьян в то время – объяснил, что я перед тобой очень виноват. Я стала его спрашивать, в чем, скажи, он насилу сказал, что у меня есть любовница и ребенок. Я стала спрашивать, кто, и он вот сказал про Назарову., он мне сказал: я ее люблю, и она меня страстно любит. Я ему тогда сказала, что так жить невозможно, или ее брось и живи со мной и детьми, или оставь меня с детьми и иди туда к ней. Но он сначала говорил, что ее брошу... Ходил в клуб в карты играть. Но он и раньше уже около пяти лет все ходил в карты играть, что мне очень не нравилось, мучилась я страсть, просила его оставить карты и бранью и лаской, ничего не помогло. После тоже услышала, что и любовница-то у него не первая.

Я с декабря месяца не замечала, что он продолжает у нее бывать, спрошу знакомых, все говорят – нет. В то время я взяла свою старую прислугу Полагаю [так! – Н.В.] опять к себе в горничные. Я и стала ее спрашивать, что, не слышать, ходит ли он. Она говорит, что и вчера был, уже это было в среду... Пошла с ним в театр, там Марья Александровна Хлебникова тоже говорит, что ходит. Я пришла из театра, ему стала говорить, он не сознается. Я ему говорю: не ходишь, то скажи перед иконами: поразил меня, Царица Небесная, если я хожу. Он это и сказал и очень волновался: “Кто это тебе все говорит глупости?”

Но я, конечно, не успокоилась, а ему виду не подавала. На масленице Сережа был чуть жив, это было в пятницу... Его звали к [?]. Он поехал на своей лошади в 7 ч. вечера, лошадь долго не приезжала домой, у меня так сердце болело, что я с горничной пошла к ее дому и ждала. А он и вышел, я побежала за ним, он от меня. Я кричала, а он вскочил на свою лошадь и ускакал. Я пошла домой, и в ту ночь Сережа помер в час ночи, а он пришел в 3 ч. ночи. И стал пить всю первую неделю дома». Случилось это 18 февраля 1900 года, сын прожил четыре месяца – за месяц перед родами сама Евлампия Васильевна болела.

Дальше из записей бабушки выясняется, что соперница, вдова Назарова – «барыня», то есть, по всей вероятности, дворянка. Играло ли это какую-то роль в развитии семейной драмы? Может быть, как-никак разные сословия, и отношения не всегда

дружелюбные, хотя Петру Доброхотову это не помешало. Так или иначе, но, судя по изложению этой истории в дневнике, кинешемское общественное мнение (можно, по-моему, употребить такое понятие) было на стороне Евлампии Васильевны. Родня, а может быть, не только родня, пыталась на ее мужа воздействовать, далее сказано, что «все» пытались...

Было ли это воздействие как-то организовано? Этот момент неясен, но закон предоставлял такого рода возможности каждому сословию. С разным успехом, но меры принимались. Традиционно совместное давление на пьяниц, чтобы защитить членов их семей, могли оказывать и крестьянские общины, и даже рабочие.

Приведу более поздний пример, относящийся ко времени первой революции, однако же не типично «революционный». Весной 1907 года жены рабочих Ижорского завода коллективно протестовали против беспробудного пьянства мужей и апеллировали сразу в несколько адресов: во-первых, к рабочим организациям (профсоюзам?) с тем, чтобы они повлияли на алкоголиков, во-вторых, к заводской администрации – чтобы платили их жалование женам, а мужьям-пьяницам не выдавали, и в-третьих, к Государственной думе – чтобы были закрыты винные лавки в Колпине, петербургском пригороде, где находился завод и жили рабочие²⁵.

«... Все с ним говорили, и он всем дал слово, что бросит. На первой неделе поста я ездила одна в Москву с Федей посоветоваться, а на второй неделе я с ним опять и с Леней ездила в Москву... В номере вылежал неделю. Не знала, что делать... Полечила от вина, месяц не пил и опять начал. С Пасхи начал пить в лавке, упал с лестницы и надломил два ребра. После Фоминой недели я с ним поехали опять в Москву и бок там лечил, были там неделю. И так все это время я уже знала, что он к ней ходит и очень много [ей] таскает, не одной ей, а и всем родным – и товаром и деньгами. В июне он с ней ездил гулять в Кострому. Господи, сколько я перетерпела, один Бог знает, как я мучилась, но Царица небесная меня сохранила.

В июле я ездила с Мамашей в Кострому, к губернатору, он советовал наложить опеку [на имущество Доброхотова], но она не

²⁵ Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций 1861 – февраль 1917 г. СПб., 1997. С. 228–229.

состоялась, никто не захотел быть опекуном». Тогда родственники – между прочим, с его стороны – заставили неверного мужа дать жене векселя на ее деньги, на 16 тыс. рублей. «Он и написал. С Пасхи уже я с ним спали в разных комнатах, я от него ушла. В конце августа я с ним ездила в Нижний на ярмарку, а в сентябре он с ней поехал в Москву, а в Нижнем многие ему товару не продали, зная его поведение. В сентябре он с ней был и запил и лежал в номере. А у нас ярмарка началась, а ни товару, ни его нет, и пришли сроки платежа, а у него денег нет, она его обобрала. Я тоже свои векселя подала. Лавку опечатали. Это было в октябре 1900 года. Денег на расход семье он уже не стал давать, Мамаша тратила свои...». Тут вечером явился квартальный надзиратель с городовым: приказчики, которых Доброхотов подкупил, установив им двойное жалование, «наговорили на меня, что я в его отсутствие перетаскала потихоньку товар из лавки к себе в палатку». Петр потребовал от палатки ключи. «... Все перерыл и, конечно, ничего не нашел. У меня в то время была сестра Маша. Сколько перенесли мучений и волнений, вспомнить больно. И так недели три он все ходил из лавки пьяный, придет, кричит: я тебя с матерью посажу в острог, на скамью подсудимых...

Мамаша подала к мировому, и его выселили... Он от нас перешел к тетке, с барыней своей разбранился, она его выгнала. Он очень пил, и вот меня упросил Иван Петрович, чтобы я с нимехала в Москву, поместила его в лечебницу. Я согласилась, дали мне денег, взяла двух приказчиков и его и поехали. Насилу его поместили в лечебницу от вина... В больнице пробыл один месяц и из больницы написал три письма любовнице, чтобы она его не оставила, и письма эти ее сестра принесла Ивану Петровичу, брату, в лавку, и он убедился, что он ее не бранит...

Приехал он в Кинешму и поселился у тетки, жил у нее с месяц... Мне говорил, что сойдется опять [со мной], только, чтобы с моей Мамашей не жить, а ее брошу, свою барыню, только бы я уничтожила векселя, которые он мне выдал». Евлампия Васильевна отказалась – «ты ее никогда не бросишь, скорее, она тебя оберет и бросит, а я с Мамашей своей не разойдусь...».

В середине декабря 1900 года муж подал иск в Костромской окружной суд: ничего-де жене не должен, подписывал векселя пьяный. Бабушка получила повестку явиться в суд 9 января 1901 года. Второе заседание было в марте. Знакомый член суда («он

жил раньше в Кинешме и был наш покупатель, знал нас хорошо») посоветовал бабушке выступить самой, без адвоката, который дорого запросил, – «дело ваше правое», «и поучил, что говорить, дай Бог ему здоровья». «Сколько я тогда перестрадала, передумала... Всю ночь не спала, мучилась, как выйти [выступить в суде]...». «Я следовательно рассказала всю нашу жизнь, и он потом вызывал моего деверя Ивана Петровича; он тоже сказал, что приказчики меня оклеветали...». Допрашивались и другие свидетели. В мае 1901 года суд признал векселя законными.

«...А он от тетки переехал в номер и в номере пожил два месяца. И перешел к ней, своей барыне, опять. Как приехал из больницы, стал пить... В марте месяце состоялась распродажа товара в лавке с аукциона. Торговали три недели, а вторая распродажа была в мае, и в доме тоже мебель вся продавалась с аукциона. Что нужно, то я купила себе. А он все живет у нее и нам ни копейки не платит, а сам получает долги по лавошным книгам и в церкви на кладбище старостой все продолжает быть. Как трудно все это было пережить, перенести, но Царица Небесная помогла мне, слава Богу; да, как бы не было трудно горе, помолись, и Заступница не оставит».

Как долго еще оставался Петр Петрович церковным старостой, не сказано, возможно, что и до конца. Думаю, к этому месту дневника достоверно добавление из рассказов мамы: накануне аукциона старший брат Петра Петровича Иван Петрович сумел каким-то образом спасти для Евлампии Васильевны из ее имущества часть дорогих вещей. Во всей этой истории он вел себя достойно.

Неожиданные слова встречаем в записи 10 июня 1901 года: «Погода стоит очень теплая, мы все сидим в саду хорошо. Покупателей много на дом, да жаль продать, не знаю, как Господь благословит. А он теперь, когда увидит детей, то целует и даст когда 1 [руб.?], а когда и 50. Да, думаю, и его жизнь не сладка, но так верно Богу угодно, его святая воля. Он, говорят, и [до...ею]-то любил попить и погулять. Не знаю, что он теперь будет делать» (неразобранное слово, видимо, местное, но смысл понятен).

Из этой же записи: «Володя учится в Москве в Комиссаровском техническом училище, год проучился, перешел во второй класс без экзамена, помощи, Господи, ему. Лена тоже весной нынче сдала экзамен в Ивановскую гимназию. Только Леонид еще никуда

Семейная драма

не поступил, готовлю в реальное [училище] в Кострому, надеюсь на Царицу Небесную, она, матушка, поможет. А две девочки еще малы. Володя сейчас гостит в Юрьевце у Флягиных, я к ним тоже ездила с Мамашей и детьми в мае, гостили [трое суток]. Мамаша сейчас гостила в Иванове, а теперь в Родниках. Хотела съездить к Тихону Преподобному, завтра приедет домой...».

Здесь требуется пояснение, даже два. Флягины – юрьевецкие родственники со стороны бабушки, с ними поддерживали связь и дети тогда и впоследствии, в том числе моя мама. О поездке к Тихону Преподобному. Это отшельник, святой с 1551 года; имеется в виду основанная им Тихонова пустынь, мужской монастырь за рекой Угрой недалеко от Калуги. Там сохранялись еще в середине XIX века, а может быть, и позже остатки дуба, в дупле которого, по преданию, «спасался» Тихон, уйдя от мира; у богомольцев был обычай отрезать от этих остатков чудодейственные щепочки...

И финал драмы, описанный 22 июня 1903 года, полгода спустя. «Давно не писала свой дневник, многое изменилось. Петр Петрович помер 9 декабря 1902 года в Москве. Было в газетах, что 9 числа в 8 часов утра найден мертвым кинешемский мещанин П.П. Доброхотов. Две раны на голове и на лбу, все тело покрыто кровоподтеками. В Москве, в гостинице “Кремль”. За две недели до смерти он ушел от любовницы к матери Анне Тимофеевне, у ней пробыл ½ суток и поехал в Москву, а любовница была там в то время, ...он с ней разбранился из-за денег. Он ей не хотел из конкурса давать, а хотел себе взять. Она за это подкупила коридорных, и его убили. Отпевали там, а тело привезли в Кинешму и похоронили с маленькими детьми. Дело о его смерти не возбуждали, некому давать, очень надоели суды.

В марте месяце и с конкурса получили [деньги], а я – нет, мне присудили только из 16 000 руб. 3 500, и то эти деньги пойдут кредиторам. Я подписывала векселя, а он не оправдал, да подал в суд, все опровергал. И заложена земля, ...все на меня подавал, все хотелось отнять». Речь идет о проводившем аукционы конкурсном управлении, учрежденном в связи с банкротством предприятия П.П. Доброхотова вследствие его долгов, о судьбе его имущества.

Смертельный исход из-за пьянства среди родственников Доброхотовых был не первым. По этой же причине умер из-

Глава седьмая

вестный нам К.Н. Сорокин, первый муж сестры Маши. По-видимому, он был значительно старше ее, прожил с женой около пяти лет; «лечился» еще менее успешно, чем Петр Петрович. Но в небольшом городе убийство при обстоятельствах, описанных бабушкой, наверное, было бы позором для семьи, для детей, почти таким же, как самоубийство. В выданном свидетельстве о смерти (сохранилась его копия) упростили написать, что умер Доброхотов «скоропостижно, от ослабления сердца». Было ему 40 лет.

Дети писали впоследствии, что он умер, а не убит. Это непонятно. Возможно ли, что став взрослыми, они так об этом и не узнали? Или договорились в документах не писать? Но что это давало после 1917 года?

В газетном сообщении о смерти Петра Доброхотова, которое привела бабушка, обращает на себя внимание указание на его сословную принадлежность, получается, что он снова мещанин. Это понятный результат разорения, хотя найти в тексте дневника дату исключения из купеческого сословия мне не удалось. Дальше мы увидим, насколько это оказалось важным для детей в условиях советской власти. Один из первых документов моей мамы, датированный 11 августа 1906 года, – удостоверение о том, что ей, «дочери мещанской вдовы Евлампии Васильевны Доброхотовой», восьми лет от роду, «лекарский помощник г. Кинешмы» привил «предохранительную оспу».

Как видно из дальнейшего, дом тогда все же решили не продавать и всем, кто желал его купить, отказали. Но часть дома стали сдавать квартирантам.

Глава восьмая

Дети и «первый штурм»

После описания в дневнике этой тяжелой для бабушки и всех Доброхотовых истории новые записи, относящиеся к началу 1900-х годов, короче. Между записями большие перерывы. Понятно, но досадно, потому что тогда в России наступали времена, как выражаются ныне, «судьбоносные», мы привыкли уделять им особое внимание. Кто-то, впрочем, из нынешних историков предпочитает о них забывать, полагая, что они прошли чуть ли не бесследно: налетел вихрь, и, слава Богу, что все кончилось. Мне такой взгляд кажется странным, возможно, я старомодна в своих исторических представлениях.

Но у бабушки, как мы видели, свои резоны что-то записывать и о чем-то умалчивать. О будущих читателях дневника и тем более об их возможных претензиях она не думала. В последующих характеристиках жизни семьи в этот период я полагаюсь, наряду с дневником, на другие, правда, отрывочные свидетельства. Чаше приходится прибегать к предположениям.

Хотелось бы знать прежде всего, обсуждалась ли в семействе Доброхотовых возможность возобновления в будущем рухнувшего торгового дела кем-либо из детей. Прямых данных нет, но если и обсуждалась, решение было отрицательным. Влечения к торговле дети не испытывали, и соответствующий настрой в них не воспитывался. Можно предполагать, что только что пережитое отталкивало Евампию Васильевну от такой перспективы для детей, и сама она уже не вспоминала, как ей вначале нравилось «торговать» в магазине...

Опираясь на дневник, можно утверждать с полной определенностью: уже в первые годы после гибели бывшего главы семейства новая сторона жизни Доброхотовых выходит на первый план и воспринимается как естественная. Она и часть истории семьи, и часть общего культурно-образовательного подъема, который современники наблюдали в столицах и в провинции. Подъема, связанного с процессами, как обозначают это явление высоколобые историки, модернизации российского общества – перехода от общества традиционного к индустриальному.

Хорошо известно, что стремление в низших и средних слоях общества к знанию, к получению в той или иной форме профессионального и общего образования прослеживается как тенденция, все более усиливаясь, начиная с первых пореформенных десятилетий. И это несмотря на препятствия, чинимые сверху, вроде известного циркуляра министра народного просвещения Деянова о «кухаркиных детях», ограничивавшего доступ к образованию детям низших и средних сословий. Я знаю, что политику Александра III оценивают теперь не так, как раньше, всецело негативно, без всяких нюансов. Но вряд ли можно, оглядываясь назад, усмотреть что-то положительное в деяновском циркуляре и восхищаться царскими словами: «Мужик, а тоже лезет в гимназию!».

Сегодня, когда об истории пишут «раскрепощенно» что угодно, можно прочесть и примерно такое: напрасно дореволюционная интеллигенция просвещала народ, лучше бы занималась самоусовершенствованием, тогда не было бы революции. Более нелепую «альтернативу» трудно придумать. Неграмотность и в начале XX века все еще оставалась бичом России, а образование, особенно высшее, – привилегией.

Раньше принято было акцентировать внимание на тяге к знанию рабочих. Это так, но она была характерна и для других групп городского населения, в котором преобладала сословная группа мещанства. К примеру, даже в Москве такое известное просветительное учреждение, как Пречистенские рабочие курсы (официальное название – «классы для рабочих»), привлекало, помимо рабочих, ремесленников, служащих, прислугу и т.п. А новые учебные заведения, создававшиеся путем «частной инициативы», строились как сословные, демократические.

Для понимания перемен в семье Евлампии Васильевны немало важно знать, как менялось в России соотношение сословных групп в составе студентов. Доля мещан и цеховых среди студентов технологических институтов росла и поднялась с 34,7 % в 1894 году до 38,9 % в 1916-м (дворян – снизилась с 42,5 до 21,6 %). Но среди студентов университетов доля мещан и цеховых за то же время снизилась – с 33,1 до 25 %²⁶. Это последнее снижение обычно объясняют правительственной политикой сохранения

²⁶ Иванов А.Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX века. М., 1991. С. 268, 272.

преград для непривилегированных групп именно к университетскому образованию. Думается, когда речь идет о таких городах, как Кинешма, дело не только в этом.

Видимо, сама тяга к гуманитарному знанию как профессиональному занятию у жителей городов Промышленного центра (без Москвы) встречалась реже, чем к техническому и экономическому. Назову как исключение имя, когда-то в Кинешме хорошо известное, а в советское время, более того, прославлявшееся, – Дмитрий Фурманов. На мой взгляд, это пример не столько иной направленности образовательных усилий, а скорее, некоторой неопределенности, не характерной, как увидим, для младших Доброхотовых. Как ни странно, в биографии Фурманова нашлись точки пересечения с историей моей семьи. Но ведь город-то небольшой...

Тоже сын торговца, Фурманов в соответствии со своими склонностями стремился поступить на историко-филологический факультет Московского университета, хотя окончил не гимназию, а Кинешемское реальное училище, носившее тогда имя И.А. Коновалова (отца А.И. Коновалова). Оно помещалось в здании на той же Московской улице, где находился дом Доброхотовой. Там он учился с пятого класса, в 1909–1912 годах. Как рассказывала мне моя мама, молодежь в городе ценила способности Фурманова, на его квартире собирался литературный кружок. Он не был заносчивым юношей и писал сочинения для девочек-гимназисток, если они просили помочь. Мама к нему не обращалась, но о такого рода фактах знала.

В дневнике юного Фурманова есть слова: «В Москву, в Москву, в Москву!... Во что бы то ни стало надо ехать туда... Здесь не могу, не могу я жить: мало мне здесь простору». Будущую свою славу комиссара Чапаевской дивизии и писательскую известность, без которой и погибший комдив остался бы неизвестен, и знаменитого фильма не было бы, он, конечно, тогда не предвидел. О «Чапаеве» Фурманова Бабель, писатель явно большего дарования, сказал, что в этой книге, как и в книге Николая Островского, «огненное содержание побеждает несовершенство формы»²⁷. О том, что наступит время, и поколение, перекормленное романтикой Гражданской войны, сделает Чапаева героем анекдотов, никому и в голову не могло придти.

²⁷ И.Э. Бабель о своем творчестве, о Николае Островском и Д.А. Фурманове // Встречи с прошлым. Вып. 2. М., 1985. С. 212.

Вероятно, не предвидел Фурманов и то, что произойдет с ним в более близком будущем, когда революционный вихрь бросит его последовательно в объятия левых эсеров, максималистов и анархистов. Об этой отрицательной с большевистской точки зрения подробности биографии Фурманова краеведы, склонные по советской традиции к одописанию, продолжают, как ни странно, умалчивать по сей день...

По-видимому, еще до смерти мужа Евлампия Васильевна и те, с кем она советовалась, приняли твердое решение: все дети должны получить образование – среднее и, если удастся, высшее, в области экономической, технической или сельскохозяйственной, что, в общем, понятно. Конечно, все зависело в конечном счете от материальных перспектив семьи, не очень определенных, особенно вначале, но цель была поставлена, сомнений на этот счет не было. А это означало, что путь детей лежит в Москву, куда же еще? (И не символично ли, что дом бабушки находился на Московской улице?) Но, возможно, бабушка лелеяла надежду



*Дом Е.В. Доброхотовой в Кинешме на
Московской улице*

на возвращение детей после окончания учебы на «малую родину» (забегая вперед, скажу сразу, что вернулся в Кинешму работать инженером один Леонид).

Как мне теперь представляется, в планах Доброхотовых было больше трезвости и рационального расчета, чем в мечтательном порыве чеховских трех сестер, как будто точно так же стремившихся «в Москву, в Москву». Так же, как стремился туда «на простор» Дмитрий



Лена, Володя и Леня Доброхотовы. Кинешма. (1896 г.)

Фурманов. Но у него это была устремленность в конечном счете в революцию. Учитывая сказанное выше, вопрос, кто оказался лучшим провидцем, не кажется мне таким уж простым...

При всей лаконичности последующих записей в дневнике ясно, что тема учения детей отныне занимает в сознании матери главное место. При том что сама помогать им в учебных занятиях она не могла. Вслед за рассказом об обстоятельствах



Лена Доброхотова. Шапово – Вознесенск, 1902 г.

гибели мужа, бабушка записывает в июне 1903 года, что в это время «Володя перешел в 4-й класс, а Леня во 2-й, он тоже учится в Комиссаровском училище, а Лена в Ивановской гимназии, тоже перешла во 2-й класс. Сане 5 ½ лет, а Ниночка померла 1 ноября 1902 года от скарлатины, больна была 5 дней». В память о сестре моя мама назвала меня Ниной. Мама – Саня, Шура Доброхотова – напишет потом в автобиографии, что детство ее после того, как «отец-алкоголик бросил семью в 1899 году, а в 1902 году умер», было «тяжелое и морально и материально». Из того же процитированного дневникового текста следует, что Леня вслед за старшим братом поехал учиться в Москву, а не в Кострому, как предполагалось.

Комиссаровское училище, в котором учились Владимир и Леонид, «Комиссаровка» в просторечии, – это реальное техниче-



*Владимир Доброхотов, ученик Комиссаровского училища.
Москва, 1907 г.*

ское училище, помещавшееся в Москве в Благовещенском переулке около Тверской. Комиссаров – личность «историческая», согласно официальной легенде, он спас императора Александра II от пули Каракозова во время самого первого, неудачного, покушения 4 апреля 1866 года. Свидетельства очевидцев расходились, историки ставят под сомнение сам факт «спасения» царя именно Комиссаровым. Но те, кто не сомневались, усматривали в этом перст божий: картузник Осип Комиссаров оказался по сословной принадлежности крестьянином Костромской губернии – так же, как во времена «Смуты» начала XVII века спасший первого из династии Романовых царя Михаила Федоровича крестьянин Иван Сусанин.

Помимо того, что Комиссарова обласкали и возвели в потомственное дворянство, добавив к фамилии еще одну часть –



*Леонид Доброхотов, ученик Комиссаровского училища.
Москва, 1907 г.*

«Костромской» и приказав именовать «благородием», его имя присвоили училищу. Почестей он не выдержал, спился и покончил с собой в припадке белой горячки. В советское время обо всем этом умалчивали, сообщая лишь, поскольку название училища оказалось живучим, что училище стало «комиссаровским» «по имени московского кустара-ремесленника Комиссарова», не объясняя, почему²⁸.

Возможно, происхождение Комиссарова давало какие-то льготы при поступлении в училище его землякам, но, вообще-то, конкурс в первые классы с 1886 года, с того времени, как «Комиссаровку» приравняли к реальным училищам, был очень высоким (на 100 мест 600–700 претендентов), подобных

²⁸ Перфильев В.И. Комиссаровское техническое училище. М., 1957. С. 7.

училищ не хватало. Братья Доброхотовы конкурс выдержали, сначала Владимир, за ним Леонид.

Где именно они жили, обучаясь в «Комиссаровке», я не могу сказать. Может быть, у московских родственников? Известно, что при училище имелось нечто вроде пансиона для провинциалов. Ученики, окончившие курс (кроме обязательных для всех шести классов, дополнительный седьмой), получали право продолжать учебу в народнохозяйственных институтах любого профиля. Специальные дисциплины преподавали в основном преподаватели Высшего технического училища, так что и это благоприятствовало поступлению туда Доброхотовых по окончании «Комиссаровки».

Источники средств существования семьи, когда ее материальное положение как-то устоялось, в дневнике раскрываются без утайки: «В доме у нас стоят квартиранты ... с 1901 года, с сентября, по 500 руб. в год, его [так!] дрова. Царица небесная, только бы не отступилась от моих детей, помоги им, Матушка, в учение. Теперь жить попокойнее. Его не стало, только суд об земле и векселях не кончился, он беспокоит. Слава Богу, Федя нас не оставляет, выдает в год 1000 р., да Мамаша с денег своих получает проценты, да с дому еще, и слава Богу, только Царица Небесная, не отступись от нас». Проценты шли, как сказано в дневнике раньше, еще до разлада с мужем («в Духов день я с Петей ездили в Кострому получать Мамашины проценты»), с вклада ее в Костромской банк.

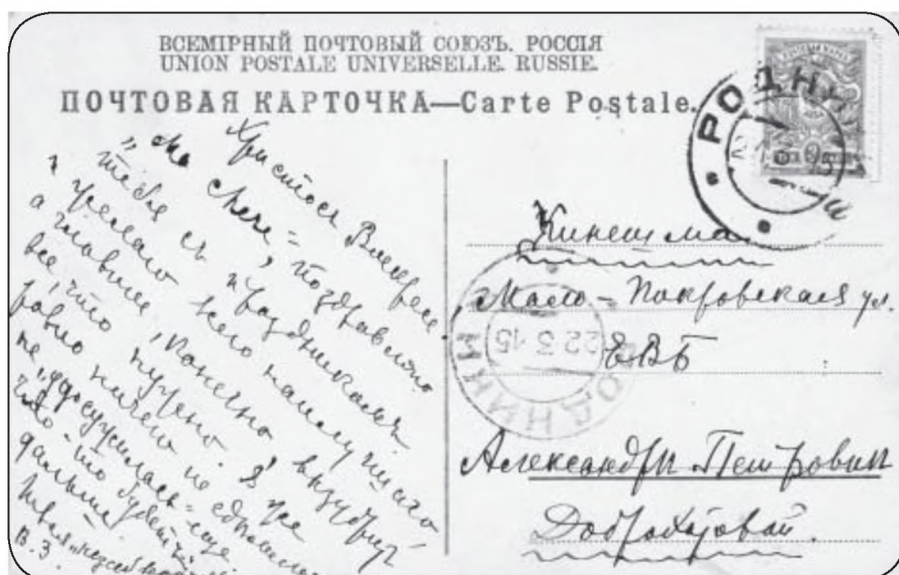
Можно ли считать в итоге положение семьи вполне благополучным? Старшую дочь Лену Евлампия Васильевна вынуждена отдать в семью своей сестры, крестной Лены, в Иваново-Вознесенск. Там она прошла весь гимназический курс, приезжая в Кинешму лишь на каникулы. Первая иваново-вознесенская фотография Лены сделана в год смерти отца, тогда же она сфотографировалась вместе с тетей-воспитательницей. В тот год ей было десять лет.

После записи 1903 года, которую я привела с небольшими сокращениями, почти шестилетний перерыв. Он вместили в себя события первой революции. В Кинешме тоже были волнения, закрыли даже на время театр, где заседала в 1907 году «хлебная комиссия», особый выборный орган, который иногда сравнивают с Советом рабочих депутатов. Забастовки проходили и в

Глава восьмая



Мария Васильевна Самохвалова и Лена Доброхотова.
Иваново-Вознесенск, 1902 г.



Пасхальная открытка В. Зеленцовой Шуре Доброхотовой

Кинешме, и в Родниках, возник грозивший фабрикантам союз текстильщиков с отделениями в этих фабричных центрах. И собирались более или менее открыто митинги.

В XIX веке явление, стоящее за английским словом «митинг», считалось абсолютно чуждым России. В 1905 году слово стало понятно без перевода. Историки пришли к выводу, что эта форма общественной жизни довольно быстро прижилась на русской почве потому, что митинги явились своеобразной модификацией такого традиционного для России общественного института как сельский сход. Института, привычного и для рабочих, которые недавно еще были крестьянами или частично крестьянами оставались. Так же, как Советы рабочих депутатов, объявленные Лениным чем-то небывалым и находящимся в родстве лишь с Парижской коммуной, о которой рабочие-текстильщики вряд ли до 1917 года знали.

Один из рабочих митингов того времени, проходивший в районе Кинешмы, описал в своих воспоминаниях с некоторой долей самоиронии неприменимый их участник Питирим Сорокин. В 1922 году его, уже известного ученого-социолога, большевики изгнали из советской России вместе с другими видными представителями инакомыслящей интеллигенции. Воспоминания написаны в США, а в 1905 году он еще 16-летний эсер, «товарищ Иван», «бродячий миссионер революции» (слово «миссионер» выбрано, чтобы было понятнее американскому читателю). Вероятно, посылал его на митинги друг по сельской школе, член Кинешемского комитета эсеров Николай Кондратьев, сын гравера на фабрике Разореновых в Старой Вичуге, будущий великий экономист, расстрелянный после пыток в 1938 году на спецобъекте НКВД «Коммунарка» (недалеко от московского района «Теплый Стан», где я теперь живу). Мог бы этой страшной участи избежать, если бы принял предложение друга остаться в США – при последней их встрече в 1924 году: Кондратьева направили тогда в заграничную командировку. Но кто же мог знать, что вскоре случится с такими «спецами»?

А в 1905 году, выступая перед рабочими с большого пня на лесистом берегу Волги недалеко от Кинешмы, Питирим Сорокин яростно обличал царизм и восхвалял будущий идеальный строй. Наверное, удачно, на взгляд слушателей. Рабочие на этот раз не



П.А. Сорокин

только защитили оратора от внезапно появившихся конных жандармов и казаков, но даже сумели обратить их в бегство²⁹. В Кинешемской тюрьме он все-таки побывал, но в другой раз.

Можно предположить, что содержание речей таких ораторов было сходно с тем, как изобразил цель революционной борьбы иваново-вознесенский рабочий Махов еще в 1895 году, получивший выучку в социалистических кружках. Предлагался заманчивый выход для обездоленных:

«Мы – враги такого строя,
Где бездельники царят,
А рабочих, все создавших,
Страшным голодом морят...
Нашей партии задача:
Ниспровергнуть этот строй,
А на место стона, плача
Создадим мы строй иной,
Строй такой, где люди будут
Все всеобщее иметь:
И земель, и капиталом
Сообща будут владеть.
Будут все равно трудиться,
И продукты от труда
Будут поровну делиться
Меж рабочими тогда...»³⁰.

Так все просто...

Кроме эсеров, действовали также социал-демократы – «Кинешемская группа РСДРП», только знали ли о ней кинешемские обыватели? Жандармское управление знало – через

²⁹ Сорокин П.А. Дальняя дорога. Автобиография. М., 1992. С. 40–41.

³⁰ Кирьянов Ю.И. Об облике рабочего класса России // Российский пролетариат: облик, борьба, гегемония. М., 1970. С. 118–119.

Дети и «первый шторм»

своего агента внутри нее – и в 1910 году эту группу ликвидировало, наверное, это была не первая ликвидация, да и численность группы была невелика.

Мне не известно, как переживала все эти перипетии бабушка – вдова с четырьмя подрастающими детьми. Дети, из которых Владимир тогда был старше на год «товарища Ивана», не могли не интересоваться происходящим в Кинешме, в ближайших городах, особенно в Иваново-Вознесенске, и, разумеется, в столицах, не могли задумываться над причинами массового недовольства. Хотя у меня нет прямых свидетельств этого интереса, но как минимум любопытство дети, безусловно, проявляли. Так же, как и взрослые «обыватели».

Оригинальное «свидетельство», не о Кинешме, но о ее репутации, если можно так выразиться, говоря о городе. Оно относится к 1905 году. Столичный журналист, побывавший в Вильне, написал под впечатлением увиденного: «Непартийный молодой человек в Вильне такая же редкость, как партийный человек в какой-нибудь Кинешме или Вязьме». Наверное, и в самом деле в Кинешме дело обстояло таким образом. А после 1905 года тем более. Кинешма – хотя и не «городок Окуров», но для провинциальной России типичен. Описывая кипучую политическую жизнь Вильны, тот же журналист без всякой симпатии изобразил характерный для нее фанатизм, нетерпимость и «партийный психоз» – все, чего основная часть населения Кинешмы была, по-видимому, лишена.

Глава девятая

К знаниям

После шестилетнего перерыва, спустя почти четыре года после событий 1905 года, бабушка снова записывает то, что считает самым важным: «1909 год. Давно не писала свой дневник. Апреля 14 сижу, пишу. Володя уже первый год, как поступил в Императорское Техническое училище, а Леня кончает Комиссаровку, а Лена в 7-м классе Ивановской гимназии, а Шура в 1-м классе гимназии в Кинешме. Вот и Мамаши моей не стало, три года, как умерла, и Крестная умерла, вот скоро шесть месяцев.

1-го мая. Как быстро время идет, дай Бог, хоть бы брат пожил. Дети, слава Богу, переходили каждый год и сейчас учатся хорошо, благодарю Бога. У меня только и заботы о детях, были бы честные, нравственные, не пили бы вина, оно в мою семью принесло одно горе, и любили бы друг друга, жили бы дружно, не ссорились бы. Вот я уже года четыре не пью вина, как хорошо. Лена учится в Иванове и на лето приезжает ко мне, вся семья родная бывает в сборе, и весело.

Сегодня погода плохая, дождь идет, холодно. Володю вчера проводила в Москву, а Леня уехал 5 дней [назад]... Шуре учиться [в гимназии] до 14 мая. Квартируют здесь Леонидовы». Это, к сожалению, самая последняя запись в дневнике, далее следуют незаполненные страницы.

Итак, младшая дочь Шура (моя мама, Александра Петровна) заканчивает в 1909 году первый класс гимназии. Женская гимназия, единственная в Кинешме, помещается неподалеку, в Златоустовском переулке, в двухэтажном кирпичном здании, «в собственном доме», как указано в «календаре-ежегоднике» на 1916 год, – в этом году Шура Доброхотова еще училась в гимназии.

«Хоть бы брат пожил», – пишет Евлампия Васильевна. Федор Васильевич Красильщиков переехал из Москвы в Кинешму к сестре и ее детям. В декабре 1911 года Володя, уже студент Императорского [Высшего] технического училища, сообщает



*Елена Доброхотова,
гимназистка.
Иваново-Вознесенск, 1910 г.*



*Шура Доброхотова,
гимназистка.
Кинешма, 1911 г.*



*Слева направо: Шура Доброхотова (2-я), Федор Васильевич Красильщиков (3-й), Евлампия Васильевна Доброхотова (5-я).
Кинешма, 1913 г.*

сестре Шуре, что «выдержал экзамен», и передает «поклон маме и дяде Феде». Из сохранившихся открыток 1909–1914 годов видно, что Федор Васильевич был нездоров, лето и не только лето он проводил в Ялте, Сочи, Пятигорске.

Профессор Ивановского политехнического института В.М. Черкасский вспоминал, как его отец Михаил Никанорович – земский техник-строитель – рассказывал, что Федор Васильевич Красильщиков «обладал мощным талантом предпринимателя и был вместе с тем добрым человеком с отзывчивым сердцем, способным к оказанию помощи, к серьезным общественным мероприятиям». Это, в частности, выразилось в предоставлении им крупных средств на строительство больницы в Юрьевце, построенную под руководством М.Н. Черкасского. На ее фронте – факт удивительный! – и в советское время, вплоть до 30-х годов сохранялась надпись: «Городская больница имени Ф.В. Красильщикова»³¹. В дневнике бабушки имеются упоминания о поездках Феди в Юрьевец. Свои фабрики он продал, неиз-

³¹ Красильщиков А.П., Сафронов В.Д. Указ. соч. С. 59–60.



*Слева направо: Федор Васильевич Красильщиков (1-й), Евлампия Васильевна Доброхотова (2-я), Шура Доброхотова (4-я).
Кинешма, 1913 г.*

вестно только, когда. Оставалась у него небольшая гостиница в Москве, наверное, до революции. Когда он умер, я тоже не знаю. И что стало с детьми его, тоже. Мама ничего о них не говорила.

Не сказано в дневнике, что Евлампия Васильевна занималась не только домашним хозяйством и не только сдавала комнаты. В 1915 году, согласно кинешемскому календарю-ежегоднику, проживали в доме Доброхотовой две классные надзирательницы из женской гимназии. Наверное, произошло это не случайно, в гимназии не могли не знать о возможности найти комнату или комнаты поблизости. Факт, о котором моя мама мне тоже ничего не рассказывала, поэтому я не называю фамилий этих квартиранток. Ясно, что бабушка не думала при этом о каких-то побрякушках дочери-гимназистке. Видимо, они были невозможны, да и не было в них нужды, Шура Доброхотова училась и вела себя хорошо. Помогала Евлампии Васильевне и в домашних, и других делах: бабушка зарабатывала еще шитьем на заказ.

Суть того, что бабушка считала самым главным, она выразила в последней дневниковой записи просто: были бы дети чест-



С.И Четвериков

ные, нравственные, любили бы друг друга, жили бы дружно... Такими они уже были. Хотелось только, чтобы оставались такими всегда. О том же, что не имело прямого отношения к «частному», она, возможно, и задумывалась, но никогда не писала. По-видимому, окружающий мир представлялся ей устойчивым.

В ее представлениях и в самом строе жизни семьи было многое из того, что отметил упоминавшийся мною раньше московский фабрикант С.И. Четвериков.

Просвещенный капиталист, он принадлежал к политически активному меньшинству русской буржуазии. Но уже на положении эмигранта, старого, больного, потерявшего всё, описывая традиционный уклад купеческой жизни в России до революции, быт своих предков, он находил в нем, наряду с узостью круга жизненных интересов и многими несимпатичными и даже несуразными чертами, «какие-то незблемые устои, фамильные традиции, семейную дисциплину и стремление к жизни хорошей и чистой»³².

Конечно, в описываемое время эта характеристика не могла быть уже исчерпывающей. Нельзя поставить знак равенства между Евлампией Васильевной и ее детьми, особенно жившими не в Кинешме. И кругозор их шире, и представления во многом не те. Первая революция имела разнообразные последствия, не только политические, особенно для молодежи. В качестве иллюстрации таких неполитических перемен в сознании можно привести мотивировку закрытия в феврале 1910 года пансиона при среднем специальном учебном заведении, вроде «Комиссаровки», но рангом повыше, – Практической академии коммерческих наук в Москве. Совет и педагогический комитет академии объясняли это «изменением в семейном укладе от пережитых недавно событий 05-06 годов»: «Молодому поколению, получившему боль-

³² Розенталь И.С. Москва на перепутье: Власть и общество в 1905–1914 гг. М., 2004. С. 30–31.



Слева направо: 1-й ряд – Шура (2-я), 2-й ряд – Елена (1-я) и Владимир (2-й) Доброхотовы. Кинешма, 1913 г.

шую свободу в семьях, трудно стало подчиняться размеренно-методичному режиму пансиона»³³. В пансионе ведь жили студенты из провинции и все-таки сравнительно обеспеченные...

Теперь как будто никто уже не отрицает, что накануне Первой мировой войны Россия переживала не новый революционный подъем, как изображали этот период в советское время (и соответственно преподавали, в том числе и я), а нечто совсем другое: подъем экономический и культурный. Да, он сопровождался острой политической борьбой, но, главным образом, в Государственной думе. Да, это, конечно, далеко не «золотой век», как ни стараются его таким представить некоторые журналисты и даже историки. Накопившиеся противоречия и социальные контрасты подъем не устранил, о них много говорили и писали. Но даже Ленин, с нетерпением ожидавший тогда революцию с сегодня на завтра, должен был признать впоследствии, что «не будь войны, Россия могла бы прожить годы и даже десятилетия без революции против капиталистов».

На интеграцию в развивавшееся общество и ориентировалась в этот период численно растущая интеллигенция. Она стреми-

³³ Там же. С. 21–22.



Слева направо: Евлампия Васильевна Доброхотова (2-я), Леонид Доброхотов (3-й), Елена Доброхотова (95-я). Кинешма, 1914 г.

лась прежде всего быть полезной, и она была уверена в том, что ее знания потребуются. Относится это и к интеллигенции начинающей, к студенчеству.

Какой видится мне по материалам семейного архива жизнь Доброхотовых в предреволюционное время? Дети, кроме младшей дочери, учатся уже не в Кинешме. Их письма и рассказы, когда они приезжают на каникулы, намного богаче, разнообразнее содержанием того, что могла узнать и увидеть бабушка в их возрасте, да и темы часто совсем другие. Посылались и обстоятельные письма в конвертах, однако ни одно из них не сохранилось. Может быть, они выбрасывались после прочтения как ненужные. Или возникали какие-то опасения уже в советское время и письма уничтожались.

Уцелели открытки – от детей, родственников, друзей и знакомых (в последнем случае, как правило, с неразборчивыми подписями). Открыток довольно много; вероятно, получатели, прежде всего бабушка, а потом моя мама аккуратно их откладывали, хотели сберечь представленные там репродукции художественных произведений и фотографии различных мест и достопримечательностей России. Нельзя сказать, что открытки, сохранявшие

еся не ради краткого текста, ничего не дают содержательно-информационного, но это содержание, к сожалению, или непонятно, или гораздо беднее, чем содержание утраченных безвозвратно писем. Чаще всего это только поздравления – с Днем ангела, Рождеством Христовым, Пасхой.

Но что теперь поделаешь? Придется обходиться тем, что есть, и примириться с тем, что мы так и не узнаем или почти ничего не узнаем о серьезных заботах и переживаниях тех, кто эти открытки посылал. Приведу пример «несерьезного», но все же на тот момент как-никак переживания молодого человека: Владимир Доброхотов сообщает в 1910 г. открыткой из Москвы, что «выдержал экзамен», и тут же: «Имел глупость надеть хорошие брюки на экзамен и все перепачкал в краске». Ну и, разумеется, соответствующая просьба – прислать денег на другие брюки.

Сортировать открытки, вернее, клочки информации из них, по какому-то одному признаку затруднительно. Можно отметить, что иногда они присылались издалека. Так, одна из подруг пишет Шуре Доброхотовой из Слонимского уезда Гродненской губернии: «Работаю. Хожу по лесам и в один замок – князя Ольденбургского. Была в костеле, хочу в еврейскую синагогу». Что привело девушку из Кинешмы в район на стыке польских, литовских и белорусских земель, в чем заключалась здесь ее работа, неясно, полный простор для произвольных предположений. Перечислять их ни к чему. Бесспорно лишь, что цель была познавательной. Возможно, с какими-то зарисовками увиденного или даже с фотографированием (не знаю, могли ли это уже делать непрофессионалы?).

Среди видовых открыток особенно много присланных Леонидом. Они с краткими посланиями, адресованными «Евлампии Васильевне Г-же Доброхотовой, Московская улица, собственный дом», иногда, видимо, в шутку – «ЕВБ» (то есть «Ее Высокоблагородию» или так полагалось?), с неизменным приветом «Шурке», младшей сестре. Шутили и подруги в адресованных ей открытках: «ЕВБ Александре Петровне г-же Доброхотовой», а она ведь еще гимназистка. С 1910 года появляется параллельный адрес в Кинешме – Малая Покровская ул., но это не «собственный дом», вероятно, этот дом нанимали, так как старый дом на Московской занят квартирантами.

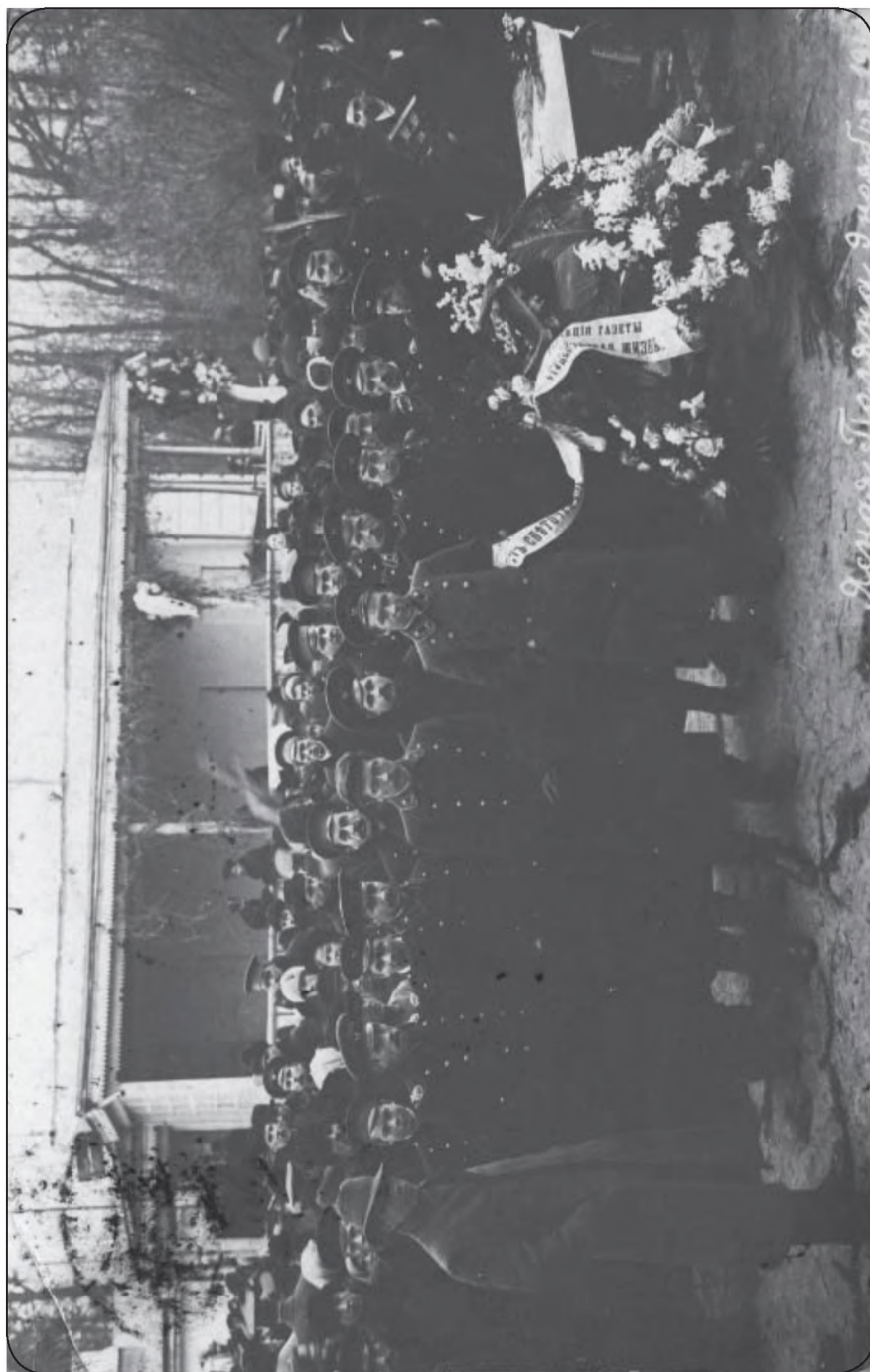
Много открыток, присланных Леонидом с Волги, с каждой пристани, по пути на Кавказ, и непосредственно с Кавказа: зда-



*Слева направо: Шура и Елена Доброхотовы, неизвестная.
Кинешма, 1915 г.*

ния и живописные уголки в районе Минеральных Вод, лермонтовские места, Военно-грузинская дорога – со скалой «Пронеси, господи» и другие, в расчете на разглядывание фотографий матерью и сестрой, с одновременным прочтением пояснений Леонида («Сегодня ездил на замок “Коварства и любви”, но такого вида, какой расстилается с горы от дачи нет», или «Вчера ездили верхом на лермонтовскую скалу, чудно как хорошо», или «Ходил к лермонтовским источникам, дорога идет долиной горной речки, местность очень красива, отвесные скалы», или «Вид с птичьего полета на гостиницу, где остановился») и т.д.

Одна открытка – с фотографией приезда в 1910 году в Ясную Поляну студентов с венком, но не на похороны Льва Толстого, а после, в конце года. На обороте объяснение: позади толпы, обращенной лицами к фотографу, терраса дома писателя. Вероятно, Леонид там был и рассказал обо всем по приезде в родительский дом гораздо подробнее.



Студенты в Ясной Поляне. 1910 г.



*Леонид Доброхотов, студент Московского
технического училища. Москва, 1913 г.*

Содержание еще одного его открытого письма (из Кисловодска летом 1913 года) дает основание предполагать, что Евлампия Васильевна – адресат письма – осведомлена о Государственной думе и о ее, говоря по-нынешнему, раскрученных «героях», чьи имена мелькали на страницах газет и чья внешность была общеизвестной. Леонид описывает молебен по случаю «открытия группы» (?): «служил архиерей торжественно, а почти все [певчие] партии не разучили, все путали» (толк в службе и в церковном пении он знает, очевидно, по Кинешме). При этом Леонид отмечает, что присутствовавший при сем «директор вод Тиличеев похож на Пуришкевича, особенно голова с острой вершиной, на темени волосы тоже отсутствуют».

Умозаключать на этом основании об отношении Леонида к Пуришкевичу-политическому деятелю, конечно, невозможно, но все же оно, судя по тексту, далеко от дружелюбного; тех из современников, кто симпатизировал взглядам черносотенцев, внешность Пуришкевича не смешила. Конечно, еще меньше оснований видеть здесь оценку личности доктора С.В. Тиличеева. Недавно мы узнали из очерка о родословной семьи, к которой он принадлежал, напечатанной в журнале «Историк и художник», что это был за-



С.В. Тиличев

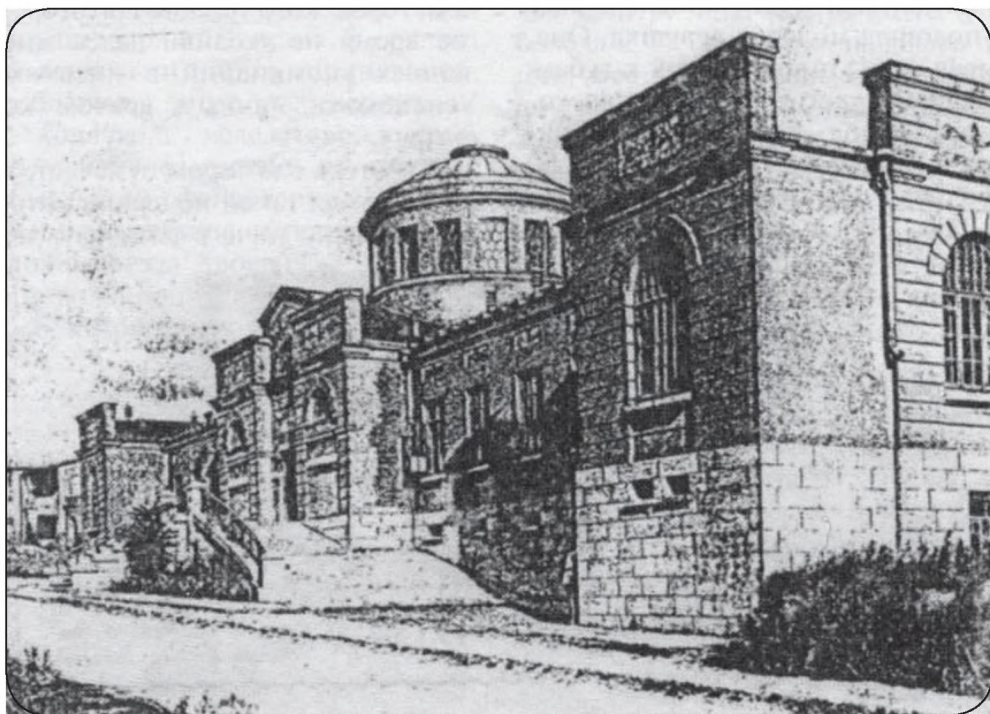


В.М. Пуришкевич

мечательный врач и организатор курортов. Он открыл новые источники нарзана, а ванны, которые, может быть, принимал и Леонид, назывались «Тиличевскими». В 1917 году Тиличев

как человека популярного и общественно деятельного избрали городским головой Пятигорска. Но, повторяю, текст открыток фиксирует, увы, чаще всего лишь мимолетные наблюдения пишущего. (Кстати, журнал, который я упомянула, был очень интересен, разнообразен и часто глубок, со своим лицом, и не одна я жалею, что перестал он выходить.)

Если вернуться к смерти Толстого и Ясной Поляне, то никто из Доброхотовых не мог знать, что групповое и одиночное паломниче-



Тиличевские ванны в Пятигорске

ство на могилу Толстого привлекло тогда пристальное внимание Департамента полиции и Московского охранного отделения. Последнее отрядило специального агента, который затем составил на основе своих наблюдений и бесед с местными крестьянами, родными и близкими Толстого обстоятельную записку, получившую высокую оценку начальства, ее даже взял для прочтения премьер П.А. Столыпин. В записке сообщалось, сколько народу приезжает, каков «характер сборищ», и утверждалось, что «подавляющая масса посещающих могилу Толстого принадлежит к студенчеству, вообще к молодежи»; «студенчество составляло если не три четверти всей массы, то уже наверное половину ее... Остальная масса сплошь интеллигентская». Секретный документ был опубликован после революции.

Выводы агента по прозвищу «Блондинка» (журналиста из газеты «Русское слово» И.Я. Дриллиха) успокоительные: «более смешного, чем серьезного», «паломническое движение... принимает самый обывательский характер», «среди приезжих гораздо более любопытных, ищущих развлечения в поездке, чем серьезных последователей движения»³⁴. Похоже, что он был бли-

³⁴ Щеголев П.Е. Охранники, агенты, палачи. М., 1992. С. 102–117.

зок к истине. Леонид Доброхотов, его знакомые и родственники не принадлежали к числу толстовцев или революционеров. Но я не думаю, что они искали в Ясной Поляне всего лишь развлечения, имя Толстого не было для них пустым звуком.

Приведу одно любопытное тому свидетельство, на которое мы с мужем наткнулись в опубликованном в 90-е годы дневнике Корнея Чуковского. Косвенно его коротенькая запись подтверждает, что духовный облик людей в провинциальных городах менялся. М. Горький поделился с Чуковским воспоминаниями о том, как он воспринимал Толстого при его жизни, когда посчастливилось с ним встречаться: «...Вы подумайте, в Индии о нем в эту минуту думают, в Нью-Йорке спорят, в Кинешме обожают, он самый знаменитый на весь мир человек». Опять Кинешма, взятая наугад в качестве символа российского захолустья, где, однако, «обожают» Льва Толстого, – Горький в этом не сомневается...

Надо еще сказать, что среди бабушкиных квартирантов (вероятно, придирчиво отбиравшихся) были и актеры. Это не могло не повлиять на детей, на их интересы. В феврале 1911 года подруга сообщает Шуре Доброхотовой из Петербурга, куда приехала с братом заниматься рисованием («занимаюсь... каждый день», и «дела двигаются вперед»): «Я здесь неделю живу и нигде не была в театрах. Пойду только с Гришей на “Живой труп”». Автор не назван, но ясно, что объяснять Шуре, чья это пьеса, нет необходимости. Подруги обмениваются книгами – об этом также есть в открытках. Не чужды театру, драматическому и оперному, и братья Доброхотовы, интерес к театру, очевидно, наследственный, конечно, более развитый, чем тот, о котором мы могли судить по дневнику бабушки. Евлампия Васильевна относилась к увлечению детей



Александра Доброхотова.
Кинешма, 1916 г.



Владимир Доброхотов,
инженер. Москва. 1916 г.

театром одобрительно, это вне всякого сомнения. Чтобы назвать их завзятыми театрами, данных у меня нет, но все же кое-какой материал из открыток на эту тему я приведу – о них самих и об их окружении.

Володя в сентябре 1910 года просит передать брату Лене, видимо, в этот момент находившемуся в Кинешме, что взял для него билет на «Богему» в театр Зимина. Подруга Шуры в той же открытке из Петербурга 1911 года жалуется, что «два раза дежурили в Мариинский и все пустышки вынимали» – билеты, очевидно, разыгрывали. И в крае театральная жизнь заметна, кое-кто участвует в ней не только как зритель. Из

Юрьевца А. Флягин, двоюродный брат Шуры, пишет ей в апреле 1914 года: «Извини, что долго не писал. Был спектакль и времени отнял много». Встречаются и самокритичные высказывания. Одна из подруг пишет Шуре: «Была на открытии клуба и чуть не уснула во время концерта, уж очень пианист один надоел» – «ведь я очень мало понимаю музыку».

Сошлюсь на труд историка российского студенчества А.Е. Иванова, он отмечает, что после первой революции студенческая масса год от года все более была поглощена заботами учебной и материально-бытовой повседневности. Как писал современник, одобрявший эту тенденцию, студенчество идет к тому, чем оно должно быть: молодежью, понимающей, «что России нужны практические деятели, неумолимо поднимающие культурный уровень народа». Мирное течение академической жизни конфронтационному предпочитали, по предположению исследователя, от 50 до 70 % учащихся высшей школы.

За неимением писем Доброхотовых-студентов воспользуюсь написанным в январе 1914 года письмом неизвестного сту-



Леонид Доброхотов, инженер, и его товарищ. Москва, 1916 г.

дента-первокурсника Московского технического училища, где учились оба брата. Письмо, цитируемое А.Е. Ивановым, сохранилось, благодаря «любопытности» полиции. Оно характеризует настроение большей части студенчества в это время: «...Московское студенчество живет полной жизнью, несмотря на давление свыше со стороны господ Кассо, Пуришкевичей, власть имущей администрации до городских и дворников включительно. Создаются новые общества, кружки, землячества в целях моральной, научной и материальной помощи. В первом семестре я был членом только одного общества, имеющего целью дать работу товарищам – «бюро труда», но с начала нового семестра я запишусь и в другие кружки («научно-автомобильный кружок», «кружок любителей литературы» и др.)...»³⁵

³⁵ Цит. по: Иванов А.Е. Студенческая корпорация России конца XIX – начала XX века: опыт культурной и политической самоорганизации. М., 2004. С. 383–384.

Поясню: Л.А. Кассо – министр народного просвещения, фигура одиозная в глазах и тех студентов, кто, как автор этого письма и, вероятно, как братья Доброхотовы, не примыкали к каким-либо политическим партиям, но не были в общественном смысле равнодушными и возмущались репрессиями против студентов и либеральной профессуры, учиненными министром-обскурантом. А Пуришкевич, о котором упоминают и этот студент, и Леонид Доброхотов, был известен, помимо прочего, как вдохновитель и покровитель студентов-«академистов», то есть черносотенцев.

Тем временем не миновали Кинешмы и окрестного района события общероссийского значения, создававшие внешне убедительное впечатление незыблемости существующего порядка. Хорошо известно теперь, особенно в связи с возрождением культа монархии, (ныне несколько приглушенного), как широко праздновалось в 1913 году 300-летие Дома Романовых. При этом важнейшей частью спланированного, умело срежиссированного и как будто вполне реализованного «единения царя с народом» должно было явиться путешествие Николая II по историческим местам, связанным с воцарением Романовых после Смуты начала XVII века. Путь высокопоставленных особ проходил по Волге от Нижнего Новгорода к Костроме и Ярославлю. Флотилия из пароходов с царем, его семьей, свитой и министрами проплыла и мимо Кинешмы.

Генерал В.Ф. Джунковский, товарищ министра внутренних дел, отвечавший за охрану царя, подробнейшим образом, не упуская ни одной красочной детали, описал царское путешествие. Он отметил, между прочим, что «около г. Юрьевца и Кинешмы, близ сел и деревень толпами собирался народ и духовенство, приветствуя Государя, который с палубы парохода отвечал на приветствия». А в Костроме «на Сусанинской площади приехавшие со своим оркестром учащиеся г. Кинешмы неумолчно по требованию народа играли и пели “Боже, царя храни”. Всю ночь тихая в обычное время Кострома не спала».

И такая еще подробность, почему-то пропущенная. На званом обеде рядом с государем сидели оба богатейших текстильных фабриканта края: Н.М. Красильщиков и А.И. Коновалов. О том, что Коновалов – оппозиционный политический деятель, либерал, член избранной в 1912 году IV Государственной думы, кри-



*Слева направо: Евлампия Васильевна Доброхотова (2-я),
Шура Доброхотова (5-я). Кинешма, 1915 г.*

тикующий с ее трибуны политику правительства, обо всем этом образованная часть общества, разумеется, знала из газет. Однако это не помешало Николаю II пригласить Коновалова на публичную церемонию.

Между тем другой депутат из местных, социал-демократ, большевик Николай Шагов, до своего избрания в Думу рабочий фабрики Красильщиковых в Родниках, организовавший там союз текстильщиков, говорил своим избирателям о Коновалове, что он – «светлая личность, очень умный человек и друг рабочих», и он, Шагов, не считает для себя унизительным пользоваться его советами (свидетельство полицейского осведомителя, сопровождавшего Шагова). Тоже факт, отражающий сложность предвоенного периода и умонастроения деятелей даже радикальных политических группировок, ту сложность жизни, которой советские историки, доказывавшие predeterminedность «Великого Октября», по-ленински пренебрегали...

Заклячая эту часть своего описания, Джунковский отмечал, что два дня в Костроме никогда не изгладятся из его памяти; «одно только, что оставило во мне осадок, это присутствие

Распутина ...»³⁶ – это имя в Кинешме и тем более в Москве вряд ли кто не знал. Частность, на первый взгляд, но частность, подрывавшая эффект от предпринятого грандиозного действия в целом; сам император, как известно, этого не осознал ни тогда, ни позже.

Среди игравших и певших учащихся, выезжавших в Кострому из Кинешмы, не было 15-летней гимназистки Шуры Доброхотовой. Но она участвовала в изготовлении подарков царю и царской семье, вышила кисет (осталась его фотография). Дошел ли подарок до царя или остался в гимназии как образец рукоделия, я не знаю, спросить уже не у кого. В ее гимназическом альбоме 1912–1913 годов – переписанные кинешемскими и московскими подругами, друзьями и учительницей (!) стихи Блока («Девушка пела в церковном хоре...»), Мережковского и стихи авторов безымянных, видимо, и их собственные, в том числе прямо обращенные к Шуре. Среди авторов – некий «граф П. Раевский», вряд ли реальный граф. Никаких специфических примет культуры мещанского сословия, столь явных в дневнике Евлампии Васильевны, как и нарочитых проявлений «дворянскости», в стихах нет. Там же и рисунки, в основном пейзажи. Как жалко, что, увидев впервые этот типичный, но занятный гимназический альбом, не выпросила у мамы подробности, сколько она могла бы рассказать о каждой его страничке...

На одной из любительских фотографий 1916 года Шура Доброхотова за фортепиано, вместе с Ольгой, невестой дяди Лени; рядом стоит Евлампия Васильевна с газетой в руках (в ее дневнике, между прочим, в одном только месте сообщается, что танцевали польку под рояль; с момента этой записи прошло двадцать лет с небольшим). В 1915–1916 годах Шура усердно готовится к выпускным экзаменам в гимназии и к поступлению на Высшие женские курсы в Москве, об этом есть упоминания в открытках подруги, в частности, о занятиях в группе некоего «Латинуса», вероятно, преподававшего латынь, необходимую будущим медикам. В другой открытке – пожелание «вызубрить все, что нужно».

Всеми членами семьи соблюдаются, как прежде, религиозные праздники, дети поздравляют с ними мать, друг друга и родственников. А она не только ходит в церковь, но и любит посещать окрестные монастыри (уже перед Великой Отечественной вой-

³⁶ Джунковский В.Ф. Воспоминания. Т. 2. М., 1997. С. 196, 199, 201.



Ольга Серебренникова, Шура Доброхотова, Евлампия Васильевна Доброхотова. Кинешма, 1916 г.

ной Евлампия Васильевна случайно встретит одну знакомую по тем посещениям, бывшую монашку – или послушницу? – Настю, и пригласит ее как надежного человека в няньки к внучке; я ее помню, со мной она была строга, не позволяла поминать черта, но за хорошее поведение поощряла: заводила свой старинный будильничек, игравший красивую мелодию...).



М.М. Пришвин.
Загорск, 1929 г.

И еще один штрих предреволюционной действительности: Владимир, студент, сообщает в 1914 году Леониду в Кинешму, что сдал – это в Высшем техническом училище! – «богословие на весьма, материаловедение – 4 ½ и проект - 4 ½» («весьма удовлетворительно» – все равно, что «отлично», самый высокий балл в высшем учебном заведении). Действительно, на механическом отделении, где братья учились, ввели эту дисциплину как обязательную в 1912/1913 учебном году, раньше ее не было. Факт, конечно, внешней, а не внутренней жизни Владимира, и, наверное, вера не занимала в душах детей такого места, как у Евлампии Васильевны. Но они, по-видимому, не были атеистами.

В это межреволюционное время нередко размышляли – и государственные деятели, и публицисты – о «средних людях». Писатель М.М. Пришвин привел в 1909 году в своем дневнике сказанные ему слова некоего «высокого чиновника», горевавшего по поводу отсутствия в России таких «средних людей». Средний человек, пояснял он, «это существо, прежде всего удовлетворенное жизнью, и там, где концы ее с концами не сходятся вообще и для всех, готовое подчиниться Богу, начальству или закону»³⁷. Мысль по форме характерная для бюрократического мышления: все равно, кому «существо» подчиняется, – закону или начальству, главное – подчиняться. По сути же, эта мысль соприкасается с современными представлениями о «среднем классе» как опоре общественной стабильности. Столыпин намеревался своими реформами в крестьянской России открыть дорогу формированию такой широкой опоры, но она так и не была создана.

³⁷ Пришвин М.М. Дневники. М., 1990. С. 41.

Другой пример более глубоких, но также пессимистичных рассуждений о «средних» людях – высказанная в 1912 году мысль беспартийной социалистки Е.Д. Кусковой. Она писала, что средние люди – это большинство обыкновенных российских граждан, на которых не рассчитывают нелегальные организации. Но у них почти нет никакой сплоченности, они не способны к выражению коллективного мнения и совместному действию. В 1905 году пробудилось стремление к созданию всякого рода легальных обществ, но препятствий не встречало создание лишь благотворительных обществ, и в результате их в России было втрое больше, чем обществ всех остальных разновидностей, вместе взятых³⁸.

Я затрудняюсь причислить Доброхотовых к абсолютно всем довольным «средним людям», да и много ли было таких? Хотя и к низам они не принадлежали. Не совсем «типичные», но много обещавшие молодые представители русской демократической интеллигенции. Не революционеры, но и не «средний класс» в западноевропейском смысле. В будущее, однако, они смотрели с достаточной долей уверенности. Можно, думаю, утверждать, что, несмотря на обилие новых впечатлений и развитие у них «современных» взглядов, духовную основу этой уверенности, как и раньше, составляли материнский дом, семья, ее ценности.



Москва. Девичье поле. Продажа кваса и вод

³⁸ Современник. 1912. № 5. С. 266–268.

Глава десятая

Кинешма Эренбурга

Процитированная выше последняя запись в дневнике Евлампии Васильевны – о ее детях – уже потому, что она последняя, требует некоторого комментария. Не научного, а сопоставительного, обращенного в грядущее, в эпоху, начало которой положил 1917 год. Комментария, основанного в первую очередь на фактах последующей жизни ее детей, насколько они мне известны. Но не только на них. На мой взгляд, помогут читателю и отступления с использованием сведений из литературы о людях и событиях, современниками которых они были. И так как до 1917 года бабушка свои записи не довела, эти отступления помогут прежде всего ответить на вопрос, оправдались ли ее такие простые надежды, когда окружающий мир вдруг пошатнулся и в считанные месяцы утратил привычные очертания?

Отклик на события 1917 года я нашла в тексте одной-единственной открытки, присланной маме уже в декабре из Пернова (то есть Пярну, Эстония, тогда Лифляндская губерния), по-видимому, из армии, не знаю, кем, подпись, как всегда, разобрать невозможно, но во всяком случае пишет ровесник мамы, бывавший в кинешемском доме Доброхотовых: «Позавидуешь Вам. Вы дома, а здесь сиди и проводи святки среди чуждых тебе людей. Пернов не Кинешма... Да будет новый год годом мира, света и истинной свободы».

Возможно, эти строки написаны вслед за заключением правительства большевиков перемирия с Германией, это ведь конец 1917-го. То, что было до сих пор, в том числе после Февральской революции, не ощущается как истинная свобода. Но есть еще надежды на лучшее в скором времени будущее, на настоящий мир, на возвращение спокойствия и устоявшихся традиций. Эти надежды, как известно, не оправдались.

Есть любительские фотографии периода революции и Гражданской войны, но они не связаны с бурными политическими событиями. Лишь на одной фотографии, очень плохой, – массовый митинг на Красной площади (возвышается над морем

голов памятник Минину и Пожарскому). Кем, когда именно и как сделан снимок, неведомо. Скорее всего, фотографировала мама, фотография в ее альбоме, и, значит, сама она присутствовала на митинге, интересовалась такими акциями, характерными для новой жизни. Или снял митинг кто-нибудь другой из Доброхотовых? Но это маловероятно. Очевидно, выступал кто-то из коммунистических вождей. Трибуны с выступающим (кто это?) не видно, она лишь угадывается возле памятника.



Митинг на Красной площади в Москве. 1917–1920 гг.

Сначала все же о том, чем я располагаю для рассказа о Доброхотовых в советское время. Перебирая сохранившиеся документы, вижу, как рубеж между до- и послеоктябрьской Россией осязаемо проходит и в доставшемся мне собрании (на-



Владимир Доброхотов. Кинешма, 1917 г.

верное, не только в моем). Это выразилось в том, какой именно материал накапливался и что в нем отразилось прямо или косвенно. Постепенно собирались, откладывались документы представителей второго поколения семейства Доброхотовых, детей Евлампии Васильевны. Все больше становилось их фотографий. Правда, в советское время, когда фотографирование стало общедоступным, преобладают снимки любительские, невысокого качества. Некоторые совсем выцвели; есть такие же дореволюционные, видимо, первые после приобретения фотоаппарата. Сохранилась, кроме того, часть переписки, но и за советские годы только небольшая часть, к сожалению.

Кинешма Эренбурга



Александра Доброхотова. Район Кинешмы, 1919 г.



*Александра
Доброхотова.
Район Кинешмы,
1920 г.*

Насколько мне известно, никому из детей, более образованных, чем Евлампия Васильевна, не захотелось вести по ее примеру дневники. Можно не сомневаться: своим скромным опытом она с детьми не делилась. Но дело, конечно, не в этом, сама жизнь не располагала к тому, чтобы что-либо записывать, и не было прежней уверенности в том, что дневника не коснутся чужие руки. Что это может иметь нежелательные последствия, становилось ясно уже всем.

Зато осталось множество документов, востребованных и рожденных новой жизнью, документов казенного происхождения и назначения – справок, анкет, автобиографий и т.п. (у меня, естественно, больше маминых). Отражение эпохи, когда уровень независимости личности резко понизился, когда на каждом шагу обывателю внушалось, что «без бумажки ты букашка». Иногда встречаются справки, написанные человеческим языком, но это документы ранние, их авторы еще не усвоили советские клише. Интересно, как сами Доброхотовы пишут о прошлом – своем и семьи, – иногда противоречиво, поневоле несогласованно, поскольку это делалось ими не по доброй воле. Привычка к условиям новой жизни приходила постепенно.

Из этих, на первый взгляд, неинтересных, скучных, документов тоже можно извлечь ценную информацию, хотя, как я убедилась, критическое отношение к сообщаемым в таких специфических документах сведениям необходимо.

Еще одна существенная особенность жизни Доброхотовых, судя по этим документам, – расширение географии проживания. Доброхотовы и те, с кем они связали жизнь, интенсивнее, чем до революции, перемещались по стране – тоже не всегда по доброй воле, дальше я расскажу о некоторых маршрутах и причинах, их обусловивших.

Итак, первое отступление от основной линии изложения, позволяющее увидеть, во-первых, что изменилось в период «красной смуты» в общем и целом в России, в том числе в районе, близком к Москве, которую большевики неожиданно для всех сделали своей столицей. И, во-вторых, как восприняли то, что свершилось, «обыватели».

В литературе советских лет, апологетической по отношению к революциям, все факты 1917 года, относящиеся к Костромской губернии, к Кинешме и округе, имеются в изобилии, но главным

образом о Советах и большевиках, о рабочем движении. Я к ним обращаться не буду, поскольку с биографиями Доброхотовых они непосредственно не «стыкуются». И, кроме того, не хочу утонуть в фактах. Вместе с тем не хочу давать волю воображению, стараясь представить себе, как могли поступать Евлампия Васильевна и дети «в предлагаемых обстоятельствах» революции в тот или иной ее момент. Тем более, что роль их вряд ли могла быть активной. Во всяком случае роль старшей Доброхотовой, которую тогда, в пылу «классовой борьбы», легко могли отнести к «буржуям».

Ясно только, что нельзя было в те годы не интересоваться происходящим. Интерес к политике в ее реальном, грубом и зримом воплощении перестал быть делом свободного выбора. Из появившихся в последнее время новых документов, исходивших от меньшевиков, видно, например, что и в 1917 году и в начале 1918-го в Кинешме «масса» (очевидно, рабочих) была настроена большевистски «почти сплошь», что оратора на митинге в защиту Учредительного собрания избили солдаты, что на фабриках с введением рабочего контроля резко упала производительность труда, что с 5 марта местные власти ввели в городе осадное положение.

Можно не сомневаться: в Кинешме и тем более в Москве знали, например, и о недолгом, прерванном большевиками восхождении на политический Олимп своего земляка-соседа А.И. Коновалова – министра торговли и промышленности и товарища министра-председателя Временного правительства в последнем его составе, арестованного вместе с другими министрами в Зимнем дворце. После освобождения в начале 1918 года из Петропавловской крепости он навсегда покинул Россию. Связывали ли с ним в качестве политика какие-то надежды кинешемские «обыватели»? Но очень характерный факт: позже, уже при большевиках рабочие бывших коноваловских фабрик как-то потребовали, чтобы им вернули Коновалова, не министра, а хозяина ... Вряд ли всерьез, скорее, демонстративно. Что получили в ответ – неизвестно.

Если же не приводить отдельные факты, а искать обобщение, типичное для отношения людей типа Доброхотовых к происходившим переменам, то прежде всего вспоминается известная картина Кустодиева «Большевик», картина-символ, созданная

Глава десятая

в 1919–1920 годах. Ее содержание истолковывают (раньше, во всяком случае) как гимн большевизму. Но мне представляется, что, скорее, это выражение недоумения: откуда у громадного утрюмого человека с красным знаменем в руках (рабочего?), шагающего через дома, уверенность в своем праве сокрушить «старый мир», не считаясь с человеческой «мелочью» под ногами? Я бы отметила вдобавок: у великана колющие глаза, как это не похоже на все другие картины Кустодиева!



Б.М Кустодиев. Большевик. 1920 г.

В написанном через два года знаменитом портрете Ф.И. Шаляпина в роскошной шубе – тот же любимый художником композиционный прием, и тоже фоном служит провинциальный город с маленькими его жителями, однако они в отличие от «Большевика» индивидуализированы (артист изображен приехавшим туда на гастроли). Огромная на этом фоне фигура Шаляпина не кажется неестественной.

Если обратиться к литературе примерно того же времени, то следует вспомнить, что Кинешма «прославлена» из писателей не одним Островским. О Кинешме, но совсем иначе, говорится еще в одном когда-то напумевшем художественном произведении.

Кинешма Эренбурга

Это тоже, по смыслу, своего рода «недоумение» – первый роман Ильи Эренбурга «Хулио Хуренито». Написан он в 1921 году, как говорят, на одном дыхании, меньше, чем за месяц, за 28 дней. Полное название романа гораздо длиннее, и в нем фигурирует Кинешма, так же как Париж, Рим, Мексика, Сенегал (!) и Москва. Вместе с тем очевидно, что Кинешма для Эренбурга – олицетворение российской провинции.

Я не поклонница романов Эренбурга, тех, что были нам в советское время доступны. Этот роман прочитала недавно, он мне показался особенным, заслуживающим внимания как нестандартный образ революционного слома. Образ художественный, но нарисованный современником и очевидцем, который к тому же, по его словам, «все время пытался разглядеть будущее, ... иногда ошибался, многое видел достаточно ясно». Время кинешемского эпизода – начало 1918 года. Герой романа отправляется в качестве комиссара с сопровождающим его личным секретарем, он же первый «ученик» Хуренито и автор романа, из Москвы в Кинешму. Их задача – воплощать в жизнь «новые основы равенства, организации, осмысленности».

Почему Эренбург выбрал Кинешму, сознательно или нет, трудно сказать, сам он в своих мемуарах этого не объяснил. Был ли он в моем родном городе когда-либо или знал об этом городе от родных и знакомых? Вероятно, слышал, но конкретных примет не только времени, но и места, подобных тем, что в пьесах Островского, здесь нет. Если бы Эренбург захотел их указать, он бы это сумел сделать, как делал это в других случаях, когда, например, описывал в стихах Москву, очень зримо и, на мой взгляд старой москвички, задушевно:

«Есть город с пыльными заставами,
С большими золотыми главами,
С особняками деревянными,
С мастеровыми вечно пьяными.
И столько близкого и милого
В словах: Арбат, Дорогомилово...»

Это «московское» стихотворение Эренбурга 1913 года не единственное. Он начинал еще в гимназическом возрасте социал-демократом, правда, как многие до революции 1917 года, в партии не задержался. Оказавшись на положении политического

эмигранта – «Ильи Лохматого» – в Париже, он пишет, что обречен

«Бродить и вздыхать о Плющихе,
Где разбуженный лаем собак,
Один, печальный и тихий,
Из сирени глядит особняк».

В этих стихах изображен родной дом писателя. В другом стихотворении Эренбург описывает начало весны на Девичьем поле:

«... И милей и коварней
Пооттаявший лед,
И фабричные парни
Задевают народ.
И пойдешь от гуляний –
Вдалеке монастырь,
И извозчицьи сани
Улетают в пустырь...»

Понятна ностальгия автора, но знал ли он, будучи в Париже, о том, как примерно тогда же, в 1911 году, старинная традиция столкнулась с прозой жизни, и победила последняя? Московская городская управа решила упразднить народные гулянья на Девичьем поле по настоянию известных врачей, сославшихся между прочим на то, что «на гулянья собирается если не большинство, то множество пьяного народа». При этом врачи перечислили совсем не поэтические последствия гуляний, делающие невозможным проживание в этом районе его обитателей³⁹.

Привожу эти поэтические и прозаические примеры для того лишь, чтобы убедить себя и читателя в том, что цель, поставленная художником перед собой, определяет характер изображения. И стало быть, не нужно требовать от Эренбурга внешнего правдоподобия. Он не видел необходимости в том, чтобы рисовать в сатирическом романе конкретно-реалистический фон фабулы именно в тех главах, где Хуренито и его «ученики» представлены оказавшимися в первые месяцы после большевистского переворота в России. Для изображения послеоктябрьской фантазмагии место Кинешмы мог занять любой провинциальный город.

³⁹ Бессонов В. Московские беседы. М., 2009. С. 212–214.

Понятно, краеведы вправе пренебречь этой сатирой, лишенной конкретики, – нет ни лирических пейзажей, ни даже «фабричных парней», а они ведь были и в Кинешме заметны, как и в Москве. Сатира Эренбурга обобщает, она метит не в меньшей мере в деятельность центральной большевистской власти, ибо эта деятельность для местных властей – предмет для подражания. Абсурдность происходящего стирает различия между столицей и провинцией. Можно было бы при желании вообразить, какой предстала революция перед «обывателями» Доброхотовыми.

Эренбург пишет, что, прибыв в Кинешму, Хуренито стал «диктовать декреты». Эпидемия декретирования кардинальных перемен во всех сферах жизни – признак всякой революции, Октябрьская количеством и радикализмом декретов превзошла все прежние. У Эренбурга отторжение вызывает прежде всего то, как большевики воплощают в жизнь ту уравнительную идею, которая обеспечила им массовую поддержку. Для него это равнозначно уничтожению культуры. Предельное равенство оборачивается несвободой, «осмысленность» («научность») означает отказ от здравого смысла. Об этом в его мемуарах сказано четко: «Я не оплакивал ни имений, ни заводов, ни акций: я был беден и богатство сызмальства презирал», но в то же время «вырос с тем понятием свободы, которое нам досталось от XIX века», и с этой «вчерашней меркой» подходил к новому, выразив также страх «перед механизацией чувств, перед регламентацией творчества».

Согласно Эренбургу, содержание «кинешемских» декретов таково. Отныне все комиссары, совспецы и артисты «местного кабаре имени Карла Маркса» переселялись в рабочие каморки и подвалы. Устанавливалась форма для заведующих складами одежды и стоящих во главе комиссии по сбору излишков у буржуазии – косоворотка, полушубок, картуз, солдатские сапоги. Меню высших и низших служащих продовольственного отдела ограничивалось пшенной кашей. Последующие декреты имели целью истребить «растлевающий призрак личной свободы», для чего запрещалось с десяти до четырех часов ходить по улицам без удостоверения, запрещалось до выработки «плана рождений» «производить зачатия» и, наконец, в целях экономии мозгов соработников следовало прекратить выдачу философской и теологической литературы. Далее наступила очередь искусства, оно запрещалось, закрывались музеи и театры.

Пользуясь приемом доведения до абсурда, Эренбург предвосхитил антиутопии Замятина и Оруэлла, но и предсказал какие-то реальные меры власти, проведенные позже. Что-то не угадал, например, рассчитывая на исчезновение у нового правящего слоя собственнических инстинктов. Однако иллюзии, предвещавшие превращение сатирика в просоветского писателя, у него еще сохранялись: деятельность Хуренито в Кинешме представлена как «перегиб» (без употребления этого слова), который исправляет Москва, отзывающая после жалоб из Кинешмы зарвавшегося комиссара. ВЧК приговаривает его к высшей мере, заменяемой по амнистии принудительными работами до конца Гражданской войны (мера наказания не придуманная, такие приговоры выносились сплошь и рядом)⁴⁰.

Эренбург верно подметил особенность политики новых правителей России: образ врага не имел четких контуров, от произвола не защищен никто, хотя и считалось, что этот враг – «буржуазия». Как поступили в годы революции и Гражданской войны с имуществом бабушки, я точно не знаю, во всяком случае, больших денег на руках у нее давно не было. Перестал ли быть двухэтажный дом с садом «собственным»? Разумеется, хозяйку не могли не «уплотнить»: если квартиранты и остались, то они больше не являлись источником дохода. Московская улица стала Красной, а фабрика «Ветка» – «Красной веткой». Есть свидетельство тети Лены о «чрезвычайных налогах и контрибуциях», которых с матери не взымали; дальше я его процитирую полностью; она писала об этом времени в конце 20-х годов. Говорить «товарищ», обращаясь к посторонним, Евлампия Васильевна так и не привыкла, то и дело нарываясь на отпор, когда пользовалась привычным обращением «господин»...

Но что несомненно из известных мне «мелких» послеоктябрьских событий, так это судьба «имущества» горничной Палаши (Пелагеи). Она работала у бабушки смолоду, помогала ей растить всех детей и по хозяйству, фактически давно уже была членом семьи. Два упоминания Палаши в дневнике бабушки я приводила выше, там, где шла речь об измене мужа. Сохранилась у меня и ее фотография, сделанная в Москве. Палаша скопила за долгие годы примерно тысячу рублей из жалования «на спокойную старость». И как раз эти ее заработанные деньги попали под

⁴⁰ Эренбург И. Собр. соч. Т. 1. М., 1990. С. 30, 31, 32, 388–389.

Кинешма Эренбурга

реквизицию: было объявлено, что реквизиция начинается с тысячи! Когда точно это произошло, не помню, но знаю из рассказов мамы о моем детстве, что Палаша так и не простила «власти трудящихся» потерю этих денег. Палаша нянчила еще и меня – до двух-трех лет, потом мы уехали на Урал, родители решили отправиться туда на заработки, а она отказалась, так как была стара.



Пелагея, няня. Москва, 1890-е гг.

Глава одиннадцатая

Кто хотел и кто не захотел «пойти в попы»

Еще одно, возможно, неожиданное, но не лишнее отступление. Иной читатель пожмет плечами, прочитав последнюю выдержку из дневника Евлампии Васильевны, процитированную выше: что тут особенного, стоит ли задерживаться на теме материнской любви и любви детей к матери. Тема вечная, но очень уж скупые на этот раз свидетельства. Для романа их мало, для исторической науки – слишком элементарно. Но ведь это, напомним, история «повседневности». Имелись ли в жизни другие варианты личного поведения? Не просто из-за естественных различий между людьми, но определявшиеся эпохой, ее особенностями, обстоятельствами, которые всегда объявлялись более значимыми, чем частная жизнь?

Можно привести множество примеров, воспользовавшись опубликованными биографиями. Я приведу пример географически близкий. Пусть читатель не удивляется: это страницы жизни Маршала Советского Союза А.М. Василевского. Факты почерпнуты из его же воспоминаний, но из той их части, которая еще не относится к Великой Отечественной войне.

Будущий маршал (с 1943 года) был чуть старше моей мамы, год его рождения – 1895-й. Бюст «на родине героя», правда, поставлен не в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда, где он родился (теперь это часть Вичуги), а в Кинешме. Сын бедного сельского священника, которому для прокормления многодетной семьи приходилось подрабатывать столярным ремеслом, он окончил до революции духовное училище в Кинешме и духовную семинарию в Костроме. По словам маршала, он не собирался идти по стопам отца, рассчитывал стать учителем, а потом, через несколько лет, агрономом, это был предел его мечтаний. Все, или почти все семинаристы, утверждает он, ссылаясь, между прочим, на газету того времени «Кинешемец», смотрели на семинарию как на трамплин для поступления в светское высшее учебное заведение.

Это желание выйти из своей социальной среды чем-то похоже на стремления детей Доброхотовых. Помимо того, что оно отве-

чало склонностям таких, как Василевский, выходцев из бедного духовенства, оно обеспечивало им лучшее будущее, более высокий статус в обществе, чем у их родителей. И, разумеется, чем у большинства местных крестьян, не имевших иного выбора, кроме работы на ткацко-прядельных фабриках. Фамилии владельцев фабрик, «богачей», Василевский помнил с детства: Коновалова, Разореновых, Кокорева, Морокиных, Миндовского. Как помнил и другие подробности жизни и источники существования крестьянского населения, о чем сообщал со знанием дела.

Судьбу Василевского резко повернула Первая мировая война. «Лозунги о защите отечества захватили меня, – пишет он. – Поэтому я неожиданно для себя и родных стал военным». Дослужился в царской армии до штабс-капитана, потом (не сразу) стал командиром Красной армии. В конце 30-х годов, когда в военном ведомстве открылось множество вакансий, Василевского переводят в обезлюдевший Генеральный штаб. Он работает под руководством Б.М. Шапошникова, одного из немногих бывших царских офицеров, имевших звание полковника, оставленных в живых в годы «большого террора». Факт достаточно известный: к Шапошникову Сталин относился с большим уважением. Разбираться, почему, здесь ни к чему, это увело бы нас в сторону. В то время, накануне Великой Отечественной войны, Василевский становится известен Сталину. Сам Василевский предполагал и, наверное, справедливо, что обязан этим своему непосредственному начальнику – Шапошникову.

Весной 1940 года состоялась поразившая меня при первом чтении мемуаров Василевского беседа, подробно им описанная. К военным делам, в которых я, естественно, разбираюсь слабо, она, на первый взгляд, никакого отношения не имеет. Перескажу ее вместе с некоторыми, вызванными этой беседой мыслями, так как выводы, которых у Василевского нет, запрашиваются сами собой (но пишущие о нем как о земляке по обыкновению выводов избегают. Да и фактический материал рассказа маршала не решаются воспроизвести – будто книга не прошла советскую цензуру.)

Сталин пригласил к себе на квартиру в Кремле отобедать участников заседания Политбюро с работниками Генштаба. Приглашен был и генерал-майор Василевский, только что получивший это звание. За обеденным столом Сталин начал разговор

с того, что спросил, почему он, Василевский, «не пошел в попы» (продемонстрировав, таким образом, полную осведомленность о его биографии), и пошутил насчет себя и Микояна – хотели-де «пойти в попы, но нас почему-то не взяли». И задал новый вопрос: почему Василевский и его братья – врач, агроном и летчик – материально не помогают отцу?

«Я ответил, что с 1926 года порвал всякую связь с родителями. И если бы я поступил иначе, то, по-видимому, не только не состоял бы в рядах нашей партии, но едва ли бы служил в рядах Рабоче-Крестьянской Армии и тем более в системе Генерального штаба». Василевский сообщил также, что, получив впервые за многие годы письмо от отца, немедленно доложил об этом секретарю парторганизации, и тот потребовал и впредь сохранять в отношениях с родителями прежний порядок. Надо понимать так: не отвечать на письмо, игнорировать родителей⁴¹.

Теперь известно, что мемуары военачальников Великой Отечественной усиленно «редактировали». Но сомнений в фактической точности рассказ Василевского не вызывает. За исключением одной авторской детали, может быть, она попала в текст по воле редактора-цензора: Сталина и присутствовавших членов Политбюро сообщенный Василевским факт будто бы «удивил». В 1974 году, когда вышли в свет мемуары маршала, полагалось описывать Сталина в не слишком черных красках. Вот ведь какой выигрышный для характеристики вождя эпизод: обязал материально обеспеченного командира Красной армии помогать родителям, а потом даже взять 80-летнего отца к себе, – ничто человеческое было вождю не чуждо. Как будто секретарь парторганизации (оставшийся неизвестным, Василевский его по фамилии не называет), а не они, носители верховной власти в СССР, поставили тысячи людей в эту уродливую, бесчеловечную ситуацию выбора: или естественные отношения с родителями, или продвижение по службе.

Наверное, не случайно Василевского приняли в партию только в 1938 году, а это, пишет он, была его «давняя заветная мечта», с середины 20-х годов. Тогда он порвал с родителями. Так что удивление по поводу услышанного от Василевского Сталин и его соратники просто изобразили, инсценировали. Так же, как лицемерной была знаменитая сталинская фраза «сын за отца не

⁴¹ Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1974. С. 7–9, 13–15, 107–110.

Кто хотел и кто не захотел «пойти в попы»

отвечает». Все знали, и Василевский тоже, что дети отвечали за «вину» родителей и еще как отвечали. Если исключения из правила случались, то это определялось «усмотрением», а не каким-то общим для всех законом, юридическим или нравственным. Видимо, Сталин заранее решил, что Василевский будет таким исключением, тем более, что его отец-священник не был даже репрессирован.

История эта не связана, как могут некоторые подумать, с поворотом в политике по отношению к церкви. Поворот произошел только во время войны, 4 сентября 1943 года, когда Сталин призвал в Кремль трех митрополитов – Сергия, Николая и Алексия. А накануне войны Сталин «оригинально», но вполне в традициях революционной антицерковности мотивировал необходимость того, чтобы Василевский помогал отцу: тогда бы старик давным-давно бросил «свою церковь», она-де нужна была ему единственно для того, чтобы как-то существовать...



А.М. Василевский и С.М. Будённый в Донбассе, 1943 год

Глава двенадцатая

Советские интеллигенты

Какое место досталось Доброхотовым в новой, советской жизни? Их «карьеру», к счастью, не потребовали отречения от матери, бывшей купчихи и домовладелицы. Но для блага ее и своего понадобилось это прошлое забыть. Как происходило «забывание», я еще расскажу.

Прошла революция, отгремела Гражданская война, и хотя «классовая борьба» то и дело директивно «обострялась», в 1928 году, то есть как раз накануне первых судебных процессов над мнимыми «вредителями» из числа технических «спецов», поэт Илья Сельвинский написал не без некоторой язвительности (эти строки я цитировала на уроках в школе, они представляют собой попытку уловить ход мысли новых правителей России относительно ее будущего после того, как они удержали власть):

«Чтобы страну овчины и блох
Поднять на индустриальном канате
Хотя бы на уровень, равный Канаде,
Нужен рычаг, ворот и блок,
Поэзия скобок и радикала.
Дабы революция протекала,
Нужно явление – увь! неминуемое,
Интеллигенцией именуемое».

Это из поэмы «Пушторг», ее, вероятно, помнят одни литературоведы. Читали ли ее Доброхотovy? Интересовались ли современной им поэзией? Не знаю. Но, не меняя своих профессий, они влились в ряды «неминуемого явления», советской интеллигенции, трудившейся во имя «строительства социализма». Стали в советское время прекрасными специалистами, преданными своей профессии. «Поэзия скобок и радикала» была частью их жизни. Сами они так, конечно, не изъяснялись. Выбор они сделали еще до революции.

В партию они вступить не пытались. Я не могу ответить на вопрос, предлагали ли им подать заявления, никогда не спрашивала.



Л. Бродаты. Праздничные наряды прежде и теперь. 1921 г.

Вероятно, они решали этот вопрос для себя отрицательно, не из-за противостояния партии, а прежде всего ввиду своей родословной; хотя и считались «служащими». Опасались «раскопок» в биографиях. Но, в конце концов, ведь беспартийных в советское время было большинство, да и, вообще, для интеллигентов, даже желающих вступить в партию, и гораздо позже существовали квоты. Властям предрержавшим хотелось непрерывно подкреплять имидж «партии рабочего класса».

Попробую порассуждать, исходя из того, что в те годы было принято клеймить только «буржуазных интеллигентов». Но и прочие от такого клейма не были застрахованы. Иногда говорят «чеховский интеллигент», но применимо ли это выражение к советскому времени? Я бы сказала иначе: в каждом из братьев и сестер Доброхотовых было что-то от самого Чехова, тоже интеллигента в первом поколении, я имею в виду, разумеется, не писательский талант. И могу поручиться, они не ощущали себя «прослойкой», хотя и принадлежали к ней по всем социалистическим канонам. И реально, и по самоощущению они были не в меньшей мере, чем рабочие и крестьяне, людьми труда.

Власть не могла отрицать необходимости их знаний и умений, поскольку вынуждена была продолжать начавшуюся до революции

индустриализацию, – только теперь одностороннюю и приемами, никогда еще не применявшимися. Не желая, как всегда, считаться с человеческой «ценой» преобразований. Но чтобы трудиться, не покладая рук, такие интеллигенты, как братья и сестры Доброхотовы, не нуждались в экстраординарных мерах принуждения. Тем более в запутывании. Бесспорное доказательство (одно из множества) того, что система, рожденная «Великим Октябрем», была контрпродуктивной, даже если видеть ее смысл только в продолжении модернизации страны. Можно, конечно, возразить: это не гуманитарии, не «творческая» интеллигенция. Но таких не гуманитариев в составе интеллигенции было большинство.

То доброе, что бабушка, как могла, старалась вложить в детей, о чем написала в дневнике, было действительно им присуще. При том что они отличались друг от друга характерами, а не только внешне; это можно заметить и на их юношеских фотографиях – двух учеников «Комиссаровки» и двух гимназисток.

Как рассказывала мама, став взрослыми, все дети относились к бабушке, жившей у них по очереди, с любовью и уважением. Начало текста одной из дореволюционных еще открыток дяди Лени в Кинешму: «Здравствуйте, милая мамочка. Я Вам третьего дня послал письмо...» – дети всегда обращались к ней на Вы. Она никогда не повышала на них голос, никогда не вмешивалась в их, взрослых, семейные дела, как и раньше, переживала за них. Если была ими недовольна, у нее выступали на глазах слезы, но она предпочитала не выговаривать сыну или дочери, а написать записочку...

Придется рассказывать о братьях и сестрах Доброхотовых порознь – связь между собой они поддерживали, но бывало, что судьба отдаляла их друг от друга на большие расстояния и сроки. Придется опираться при этом на те казенные бумаги, о которых я уже писала, не углубляясь в чисто профессиональную сторону их жизни, о которой мне трудно судить. И выявить таким образом их отношение к революции, к тому новому, что она принесла, отношение, письменно, думаю, нигде ими не выраженное, но связанное с тем, что они вынесли из дореволюционного времени, из знания жизни простых людей, из того, что дало им, наряду с семьей, высшее образование.

Елена после окончания гимназии в Иваново-Вознесенске ушла от тети, у которой жила «на воспитании», пока учи-

лась (это сестра Евлампии Васильевны, упоминавшаяся ранее Маша, Мария Васильевна, жена во втором браке Петра Михайловича Самохвалова, владельца магазина). Тетя Лена не любила вспоминать свою жизнь на положении «воспитанницы». «Воспитательница» была, по ее словам, женщиной жесткой, суровой, недоброжелательной (должно быть, повлиял не очень удачный первый брак), отношения с ней не сложились с самого начала. Тетя Лена мне говорила, что маме по сравнению с ней повезло, она росла в родном доме. К тому же Мария Васильевна не желала, чтобы племянница продолжала учиться, – пора, дескать, замуж, зачем еще напрасная многолетняя трата времени. Это нежелание также определило неприязненное в дальнейшем отношение к ней «воспитанницы».

Тетя Лена не подчинилась, решила по-своему, поступила в 1911 году в основанный в 1906-м Московский коммерческий институт. В отличие от Московского высшего технического училища, где учились братья, институт не был императорским, то есть государственным, находился в ведении Московского общества по распространению коммерческих знаний. В это негосударственное, но первоклассное по составу преподавателей учебное заведение принимали как мужчин, так и женщин. Тетя Лена репетиторствовала, так же как многие студенты, – в ее институте, как и в других, имелось студенческое бюро труда, занимавшееся приисканием работы. Но вряд ли это было главным источником существования, за репетиторство платили немного. По ее словам, она «жила самостоятельно уроками, перепиской и другой периодической работой...», вероятно, получала какую-то помощь из Кинешмы.

Когда началась Первая мировая война (кто знал, что она только первая, а будет еще и вторая?), тетя Лена пошла в сестры милосердия. Добровольно, конечно. Согласно выданному ей и сохранившемуся свидетельству, прослушав с 9 февраля по 1 мая 1915 года лекции на «Курсах Самаритянок, учрежденных д-ром П.П. Тутышкиным», она успешно выдержала теоретические испытания и исполнила практические занятия. Название курсов, вероятно, от «доброго (милосердного) самаритянина» в Евангелии. На мой взгляд профана, судя по тому же свидетельству, доктор и его коллеги хотели вложить в слушательниц за три месяца максимум знаний, теорию и практику (двадцать дисциплин).

плин и четыре практических занятия). Сестрой милосердия тетя Лена была хорошей, заботливой. Летом 1915 года она работала в лазарете № 4 в Петрограде, а в 1916 году в Травматологическом институте в Москве на Смоленском бульваре.

Борис Пастернак напишет впоследствии в книге «Охранная грамота», что в период Первой мировой войны в сестры милосердия шли «лучшие из девушек и женщин». Это подтверждают в моем случае письма, присланные тете Лене ранеными после выписки. Один из них – казак Петр Эков, другой – Иван Орле со станции «Галлист» Лифляндской губернии. Возможно, он работал в типографии или обратился к кому-то из работавших там, поскольку письмо не написано, а напечатано – с ошибками, простительными не очень образованному латышу, но золотыми (!) буквами (тете Лене в это время 23 года). Теперь оно в музее, возможно, произвел впечатление золотой шриффт, но содержание тоже интересно.

Вот текст этого письма: «Глубокоуважаемая Елене Доброходова! Я считаю одною из первых обязанностей моей жизни пользоваться каждым случаем для выражения Вам искренней благодарности за сердечное и заботливое обращение и внимание в качестве сестры милосердия во время моего нахождения в Городском Лазарете № 4-й. Никогда не буду в состоянии отблагодарить Вас за все, что Вы сделали для меня. Раненный из I. палаты Иван Орле».

Не знаю, представился ли ему случай хотя бы еще раз выразить благодарность. Оккупация Латвии немцами, затем возникновение государственной границы этому не способствовали. Возобновив обучение в коммерческом институте в 1917-м, тетя Лена окончила его в 1918 году экономистом-статистиком, участвовала в Москве в проведении переписей «от Статистического отдела при Московском городском управлении» (Моссовете? – ведь городской думы и управы уже не было). Параллельно в 1917 году прослушала один семестр на естественном отделении физико-математического факультета Московских высших женских курсов. Как видно из ее «предметной книжки», среди лекторов были такие научные светила, как биолог-генетик Н.К. Кольцов и химик А.Н. Реформатский. Книжку ей выдали между прочим 7 ноября 1917 года (это, правда, кажущееся совпадение с большим событием: дата еще по старому стилю).



*В. и А. Веснины. Эскиз оформления московского Кремля
к празднованию 1 мая 1918 г.*

Вернувшись в Иваново-Вознесенск, тетя Лена прожила там большую часть жизни, работала статистиком и заведующей статистическими бюро (отделами) в разных учреждениях, главным образом, имеющих отношение к текстильной промышленности. Была авторитетным специалистом, уважаемым человеком. Одно время – в 1919–1924 годах – работала в Кинешме, где жила вместе с Евлампией Васильевной. Жених ее погиб на войне, замуж она так и не вышла. Сердечная, душевная, очень деликатная, она больше других детей Евлампии Васильевны напоминала ее. Всегда помогала близким – и маме, и тете Оле. А письмо Ивана Орле досталось мне в наследство, как и некоторые другие бумаги тети Лены. Я передала его в музей, не знаю, экспонируется ли оно.

Врачом стала по окончании весной 1925 года медицинского факультета 2-го Московского университета моя мама, младшая Доброхотова. Поступила она туда, закончив в 1916 году кинеш-

шемскую женскую гимназию с золотой медалью, «получив в среднем выводе отметку $4 \frac{7}{8}$ » – диковинный по нынешним временам показатель знаний (как уже говорилось, сохранился ее аттестат). Поступила в 1917 году (то есть когда заканчивала учиться тетя Лена) тоже на Высшие женские курсы, преобразованные потом во 2-й МГУ. Таким образом, Александра – единственная из Доброхотовых, получившая высшее образование при советской власти. Все больше она ощущала себя москвичкой. Много работала, будучи студенткой, в том числе в родных и хорошо знакомых местах – в Юрьевце, Кинешме.

Из маминой автобиографии: «С 1906 года я начала учиться, сначала в городском училище, потом в местной гимназии... До 1916 года жила с матерью в г. Кинешме, учась и помогая ей в работе, с 1917 года живу самостоятельно – сначала уроки, перепись, уход за больными на дому, позже работала в лечебных учреждениях (сестрой, лекпомом, затем врачом)».

О том, как мама начинала трудиться в области здравоохранения, есть не только эта скупая запись и большое число фотографий, неважного, правда, качества, на которых, в частности, зафиксированы и занятия студентов-медиков. Мама мне расска-



Сводный хор исполняет «Интернационал» у здания Большого театра в Москве. 1921 г.



Студенты–медики 2-го МГУ. Москва, 1920–1921 гг.

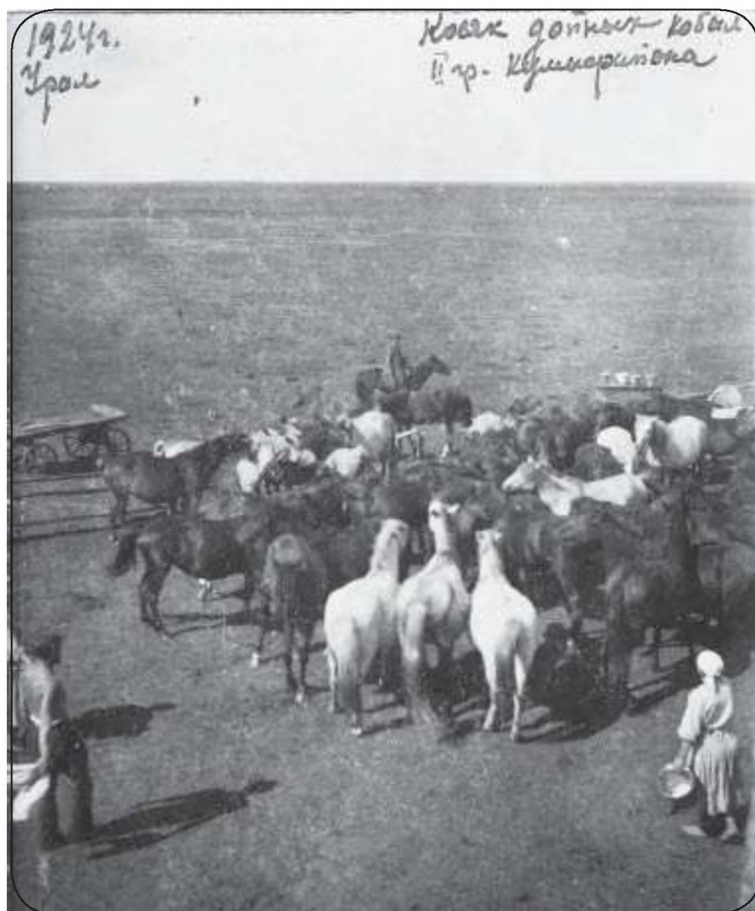
зывала, за кем она ухаживала на дому, сиделкой: это была сестра Я.М. Свердлова и кто-то из Миндовских (по старому знакомству?). Можно сказать, ухаживала за заболевшими представителями двух противоположных миров, так ведь это тогда провозглашалось. Однако я не помню, говорила ли мама, кто именно из большого семейства Миндовских был ее пациентом; показывала только мне их московский дом на Садовом, кажется, там потом находился Фрунзенский райком комсомола. Если это верно, то речь не идет о самом известном из Миндовских, владельце уже упоминавшегося мною роскошного особняка на Поварской, впрочем, наверняка уже лишенном собственности.

В первые годы советской власти, по крайней мере, двое Миндовских, возможно, братья, отошли от семейных купеческих традиций. Вероятно, это началось еще до революции. Василий выступал как историк волжского пароходства, собрав опубликованные разрозненные данные на эту тему, а Владимир как краевед. Как уже говорилось, в богатых фактическим материалом очерках «Вичугская фабричная старина», написанных им, об иных своих родственниках он отзывался нелицеприятно. Оба печатались в трудах Костромского научного общества по изучению местного края.

Глава двенадцатая

Впрочем, если вернуться к маминой работе в студенческие годы, наверняка, среди тех, за кем она ухаживала, имелись и больные совсем незначительные. Для мамы все они были страждущими, нуждающимися в помощи и участии. Об этом говорят сохранившиеся письменные отзывы о ее работе, не просто положительные, но, я бы сказала, неординарные.

На трехмесячной практике в амбулатории Томненской фабричной больницы в Кинешме, при фабрике бывшей Разореновых (куда маму послали, само собой, по ее желанию), она, как отметил главный врач больницы в выданном ей удостоверении, «к делу относилась с любовью и прилежанием, к больным была всегда внимательна и человеколюбива»; в то время на фабрике работала и тетя Лена. Еще один отзыв – о студентке пятого курса А.П. Доброхотовой, командированной в 1924 году на кумыскурорт в Троицке, на Южном Урале. Выполняла она там



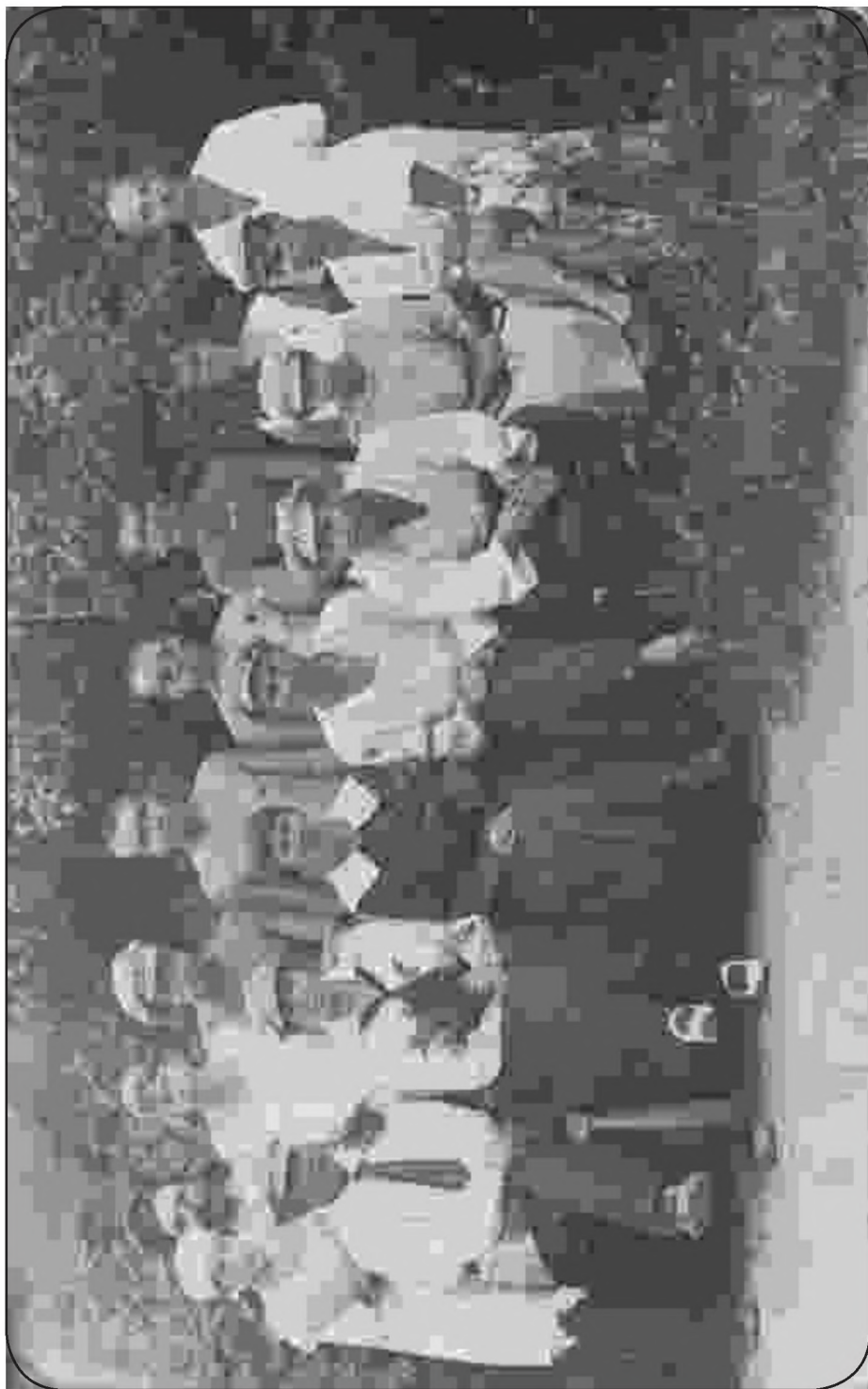
Косак дойных кобылиц. Район Троицка Уральской обл., 1924 г.

обязанности «лекпома», вела среди больных научно-просветительную работу. «...Проявила интерес и серьезное отношение к курортному делу вообще и к делу лечения, в частности, умелый подход к больным и солидные специальные знания, посему является, по мнению Троицкого курортного управления, ценным и желательным курортным работником».



*Дойка кобылицы для приготовления кумыса.
Район Троицка Уральской обл., 1924 г.*

Специализацию мама выбрала нелегкую, но социально значимую – туберкулез, больницы еще долго будут переполнены туберкулезными больными. В 20-е годы открылся туберкулезный диспансер и в Кинешме. В 1925 году мама работала в диспансере несколько месяцев, это первое место ее работы врачом по окончании университета. По всей вероятности, желание мамы посвятить себя медицине, здравоохранению утвердилось под влиянием смерти младших братьев и сестер, в том числе Нины, которая была чуть старше ее и умерла не такой маленькой, как другие. Знала она, и как болеют рабочие текстильных фабрик из-за условий их труда. Маме тоже пришлось настаивать на своем выборе: старшие братья Владимир и Леонид почему-то видели младшую сестру агрономом, работающим в сельском хозяйстве.



Александра Доброхотова (сидит, 2-я справа) среди коллег и больных. 1920-е гг.



*Евламния Васильевна, Леонид Петрович, Елена Петровна
Доброхотовы. Кинеиша, 1920-е гг.*

Сами они получили высшее образование еще перед революцией, тот и другой окончили Московское (в будущем Бауманское) высшее техническое училище с дипломами инженера-механика. В начале века потребности развивающейся экономики в специалистах в должной мере не удовлетворялись, и престиж инженерных профессий стоял высоко, но в советское время, в годы первых пятилеток звание инженера стало девальвироваться. Я еще помню московские квартиры с сохранившимися блестящими латунными табличками на входных дверях: «Инженер...» (далее имя, отчество и фамилия). Д.С. Лихачев вспоминал, что ему, академику, никогда не приходилось жить материально лучше, чем его отцу – «простому инженеру» с «нормальным, достойным уровнем жизни»⁴².

В советское время эта элитарная, ввиду малочисленности и высокой квалификации, категория интеллигенции превратилась в массовую. В результате подготовки инженеров узкой специализации, они превратились в «технарей», средняя заработная плата которых стала ниже, чем у иных рабочих. Но это не заставило инженеров Доброхотовых изменить профессии. Не только потому, что надо было существовать и содержать семьи.

⁴² Лихачев Д.С. Беседы прежних лет // Наше наследие. 1993. № 27. С. 56.



*Владимир Петрович
Доброхотов. Москва, 1930-е гг.*

Дядя Володя женился еще студентом на хозяйке квартиры, где снимал комнату. Жена с детьми от первого брака родственникам не очень нравилась, считали, что она его «обкрутила». Из двух дядей мне, еще маленькой, он нравился больше. Жаль, что у меня так мало о нем конкретных сведений. В конце жизни он работал в Москве главным инженером Станкина, был такой институт. Умер 49 лет от сердечного приступа, говорили – от переутомления, «сгорел на работе». Но, вообще-то, дело было дома, он прилег отдохнуть и не проснулся, нашли его мертвым, с не погасшей еще папиросой.

Дядя Леня тоже переехал из Кинешмы в Москву строить Дворец Советов, никогда, как известно, так и не построенный. Но архитектурный проект здания с огромной статуей Ленина наверху правительство утвердило. Проект получил широкую известность, его демонстрировали и популяризировали перед войной в разных видах, все дети знали, как будет выглядеть Дворец Советов, и я в том числе. Считалось, что строительные работы на уровне фундамента здания уже ведутся.

Тем временем дядя Леня жил с женой и двумя детьми в общежитии в Лужниках, исправно вносил по 50 рублей в жилищный кооператив и, наконец, получил квартиру в новом пятиэтажном доме «для ИТР» в Кудринском переулке, еще с высокими потолками и звуконепроницаемыми стенами, на участке, прилегающем к домику (теперь – дому-музею) Федора Шаляпина на Садовом кольце, на Новинском бульваре. Евлампия Васильевна, когда сын уехал из Кинешмы, тоже уехала оттуда. Вещи разделила между детьми, а сама жила то у тети Лены в Иваново, то у дяди Лени в Москве.

Дом в Кудринском я хорошо помню, потому что взрослой я тоже в нем проживала, в комнате этажом ниже квартиры, полу-



*Леонид Петрович, Муза, Ольга Ивановна Доброхотовы.
Москва, 1930-е гг.*

ченной дядей Леной, несколько лет одновременно с его семьей. Это было уже в 60-е – 70-е годы, после того как рядом с домом соорудили одно из высотных зданий – на площади Восстания, теперь снова Кудринской. В то время я вышла замуж, растила маленького сына, пока мы не переехали оттуда на окраину с красивым, теперь уже привычным названием Теплый Стан. Недавно наш дом в Кудринском переулке снесли, заменив его огромным и несуразным торговым центром; увидев его впервые, нам даже не захотелось туда зайти...

Еще один, во многом «исторический», документ из семейного архива – «Жизнеописание», составленное тетей Леной 9 февраля 1929 года для поступления на новую работу в Иванове. Вероятно, так тогда именовалась автобиография, если она составлялась с официальной целью. Пришлось тете Лене, как и в других подобных случаях, сообщить чуть ли не больше о семье, чем о себе, но острые углы она постаралась обойти, расставила акценты обдуманно. Читая «жизнеописание», видишь, что суть дела излагает дипломированный специалист – четко, ясно. Оно возвращает к началу века, к семейной драме, описанной подробно в цитируемой выше части дневника Евлампии Васильевны.

«Отец мой Петр Петрович Доброхотов имел торговлю до 1902 года. За 2 года до окончания торговли он ушел от семьи (без официального развода). В начале 1902 года был объявлен несостоятельным, ввиду чего все движимое имущество, находившееся у моей матери, было распродано с официальных торгов, товар в лавке также был продан, и дело прекратило существование. В декабре 1902 года отец мой умер, не оставив семье никаких средств к существованию. У матери моей остались на руках 5 малолетних детей, старшему было 12 лет. После ухода отца и после его смерти мать моя жила в доме своей матери и при ее помощи воспитывала своих детей».

Заметьте: не в своем доме, а в доме своей матери. И воспитывала только при ее помощи. В конце еще сказано (это по тем временам исключительно важная деталь) о том, что Евлампия Васильевна «во время революции никакими чрезвычайными налогами и контрибуциями не облагалась, ввиду непринадлежности к зажиточному классу», а сейчас живет на иждивении детей опять-таки «в доме, построенном на средства матери». Моя мама в своих автобиографиях тоже умалчивала о всех источниках существования Евлампии Васильевны после смерти мужа, писала лишь, что она была «швеей на дому», в другой «личной карточке» (1949 год) – «портнихой», а об отце сказано, что он «служил продавцом»; мама работала в это время в Москве и, видимо, считала, что проверять уже никто не станет – прошло столько времени...

Тетя Лена, двадцатью годами раньше и находясь поблизости от Кинешмы, в Иванове, в этом уверена не была и предпочла описать почти все, хоть и не все, как было. К «Жизнеописанию» она даже приложила старый документ, датированный 14 июня 1902 года – ответ Александре Федоровне Красильщиковой (дочери брата Феди Саше) от конкурсного управления по делам несостоятельного должника П.П. Доброхотова. Ответ на прошение о выдаче денег на содержание его детей. Это, по сути своей, отписка: «конкурсное управление имеет честь уведомить Вас, что прошение Ваше... будет доложено общему собранию кредиторов Доброхотова» (вероятно, прошение было подано после того, как Евлампии Васильевне присудили 3500 руб. из 16 тыс., да и те должны были достаться кредиторам; «отстегнули» в итоге кредиторы хоть что-то на детей или нет, выяснить не удалось).

Казалось бы, после предъявления такого документа не должно было остаться сомнений в точности подробного «жизнеописания». Но нет: потребовалось еще, чтобы четыре (!) кинешемца, причем каждый в отдельности, подтвердили письменно, что все написанное тетей Леной – «совершенная правда». Что они и сделали.

Так, несчастье, обрушившееся на семейство Доброхотовых в начале века и определенным образом преподнесенное после 1917 года, послужило детям как бы охранной грамотой. Но, как вскоре выяснилось, лишь до поры до времени. Настал период советской истории, когда ничто не могло защитить: ни идеальное социальное происхождение, ни казавшийся раньше по советским меркам замечательным послужной список.

В конце своей жизни Евлампии Васильевне пришлось испытать еще два тяжелых удара – скоропостижную смерть в 1937 году старшего сына и арест в 1939 году второго, дяди Лени. Его сослали как «социально опасный элемент» на пять лет в Котлас, строить железную дорогу на Воркуту. Жена Леонида Петровича Ольга Ивановна осталась с двумя детьми, не имея профессии и рабочего стажа (она тоже была из Кинешмы, перед замужеством училась на Бестужевских курсах, но не закончила их, ей оставалось учиться последний год перед выпуском). Когда арестовали мужа, она стала портнихой, а во время войны медицинской сестрой, окончив курсы при Филатовской больнице.

Ольга Ивановна добилась приема у самого Вышинского и узнала, в чем состояла «вина» мужа: инженер Доброхотов, оказывается, в разговоре с кем-то из сослуживцев критиковал вырубку деревьев на Садовом кольце. Между тем эта вырубка – дело государственной важности; очистить трассу необходимо, чтобы на нее могли садиться самолеты. Смешно? Но ведь публично, в газетах не объяснили, чем вызвана эта акция. Что и создало почву для домыслов – и доносов. Ведь желающих проявить бдительность даже без всякого повода по-прежнему хватало, хотя к тому моменту «ежовщина» закончилась. Чей был на сей раз донос, Ольга Ивановна не интересовалась, сама аудиенция у Вышинского и ответ «по существу» были по тем временам исключительной удачей. Замечу, это как будто единственный случай соприкосновения Доброхотовых с сильными мира сего.

Правда, есть другая версия, не такая бредовая, однако не обязательно вполне достоверная. Вычитанная мною на этот раз из

мемуарной книги авиаконструктора А.С. Яковлева. Как объяснил летом 1939 года Яковлеву благоволивший ему Сталин, он, проезжая по Первой Мещанской, обратил внимание Хрущева и Булганина, главных городских начальников, на отдельные чахлаые деревца, сужавшие проезжую часть и портившие вид, а Хрущев и Булганин перестарались, распорядились вырубить все бульвары вдоль Садового кольца, в том числе Новинский бульвар с вековыми липами (как раз рядом с домом, где проживал с семьей дядя Ленья). Выкорчевали всю полосу зеленых насаждений на всем протяжении Садового и залили асфальтом, оформив вандализм решением Моссовета. Ошибка, но что поделаешь. И, конечно, как всегда, ошибка не великого вождя...⁴³

Можно теперь привлечь к решению «загадки» и некоторые ставшие доступными документы. Из опубликованной переписки Сталина, когда он был на отдыхе, с Кагановичем, видно, что ничто в Москве не ликвидировалось помимо воли Сталина – ни здания, ни зеленые насаждения. Было бы неверно видеть в словах «сталинского наркома» всего лишь выражение угодничества. В 1934 году, например, он писал Сталину: «Ломаем дом напротив Националя, про который Вы давали свои указания... Расширили Арбатскую площадь, сняли, как Вы указывали, кусок бульвара до памятника Гоголя...»⁴⁴. В этом смысле ничего не изменилось и в последующие годы, когда на столичное хозяйство поставили Хрущева и Булганина.

С другой стороны, немаловажно, что «Записки авиаконструктора» вышли в 1969 году, когда лягать свергнутого Хрущева стало модно. Как до 1964 года, наоборот, нельзя было его критиковать, даже по мелочам (изустных анекдотов хватало, это я хорошо помню).

При любом объяснении причин ареста Леонид Петрович оставался преступником. Правда, его использовали, насколько я знаю, по специальности инженера, однако не на свободе, не за зарплату, которой лишили и его, и семью. Оправдывать арестованных не полагалось, и если в начале войны нескольких «нужных» и еще не уничтоженных военачальников и кое-кого из штатских специалистов вернули из застенков НКВД на прежние

⁴³ Яковлев А. Цель жизни (Записки авиаконструктора). М., 1969. С. 506–507.

⁴⁴ Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. М., 2001. С. 515.

места, то решал, кто нужен, а кто нет, один человек. Да и то, многих он определил в «шарашки». До таких, как дядя Леня, Сталин не снисходил.

Дядя Леня отбыл сполна свой по тогдашним меркам небольшой срок. Во время войны срок, как было заведено, продлили – потребность государства в принудительном труде не уменьшилась, а, скорее, возросла. Жена дяди Лени, человек исключительной энергии и жизнестойкости, сумела получить разрешение на свидание с мужем и поехала на север. Ольга Ивановна рассказывала, каким захватывающе интересным оказалось это пароходное путешествие по северным рекам: ее спутники, направлявшиеся туда же, куда она и с такой же целью, составляли поистине «цвет советской интеллигенции» (это ее слова).

Оптимизм тети Оли кого-то удивлял, кого-то раздражал. Меня он восхищал, я всегда старалась воспринять ее жизненный принцип: во всем искать и находить что-то положительное. Да и как иначе она могла бы, оставшись без мужа, вырастить детей – еще студентку Музу, она училась в Менделеевском химико-технологическом институте, и школьника Вадима (восьмиклассника Вадима в 1944 году взяли в армию, но послали на Дальний Восток, воевать ему не пришлось; после демобилизации он окончил техникум и заочно – институт)! И дом их, несмотря на бедность, оставался открытым, радушным, гостеприимным. Навещали, правда, из старых знакомых не все. Исключением являлся муж тети Вали, урожденной Флягиной из Юрьевца (двоюродной сестры мамы и других Доброхотовых), Виноградов. А он был чекистом...

Освободив, наконец, дядю Леню, вернуться ему в Москву не разрешили, прописку не восстановили. О строительстве Дворца Советов никто уже не вспоминал, только станция метро продолжала так называться, не помню, до какого года, потом ее переименовали в Кропоткинскую. Устроился дядя Леня после войны и освобождения «с минусами» на металлургический завод в Мариуполе, позже жил у сестры Елены Петровны в Иванове. Работал ли там? В Москву приезжал нелегально, рискуя быть снова арестованным. Благо, всю квартиру у жены и детей не отобрали, оставили две комнаты из трех, «уплотнив». Умер он за год до смерти Сталина, реабилитирован в 1956-м. Не так уж плохо по сравнению с участью других. Только от того не легче.

Глава двенадцатая

...Может быть, кто-то забыл, как потел над школьными сочинениями «Образ лишнего человека». Онегин, Печорин, кто еще? – темы, обычные в преподавании литературы. Есть ли и теперь подобные, или они исчезли с появлением ЕГЭ и других современных новаций? Я вспоминаю здесь об этом не потому, что сама работала в школе. Задумывались ли учителя, ученики-старшеклассники, родители над тем, что формулировка «лишний человек» применительно к XIX веку приобрела издевательский смысл, когда тысячи, десятки, сотни тысяч оказались не по своей воле лишними? Или, скорее, всеобщий страх парализовал мысль, и каждый думал только о себе и о своих близких. Какая уж тут «соборность».

Не в том ли уникальность России, что нигде больше в XX столетии не наносили такого огромного и невосполнимого урона своей собственной стране. Никто не поступал так со своим народом. Но и теперь еще находятся поклоняющиеся Сталину. Кем были их деды и прадеды?

Глава тринадцатая

Судьбы родителей

В этой части и в последующих я буду больше, чем раньше, делиться личными воспоминаниями, естественно, главным образом о себе. Приблизить к читателю облик моих родителей невозможно без рассказа о том, какими они были для меня, что для меня сделали. Об особенностях жизненного пути каждого из них я тоже постараюсь рассказать подробно, сверх сказанного раньше.

Они сменили много мест жительства, обусловлено это было в немалой степени трудной биографией папы, о ней дальше. Но мама и в начале своего трудового пути не оставалась на одном месте. Еще студенткой она работала в Юрьевце, Кинешме, в Московской области и по командировке Наркомздрава в Троицке Уральской области, а по окончании университета в 1925 году в Кинешме, в 1925–1928 годах в Москве, с 1928 года опять на Урале, в санатории «Кособродск», где она познакомилась с И.М. Вощинниковым и вышла за него замуж. Но фамилию его не взяла, осталась Доброхотовой, дальше я объясню, почему.



*Санаторий «Кособродск».
Уральская обл., 1928 г.*

Глава тринадцатая.



*Иван Матвеевич Воицинников
и Александра Петровна Доброхотова. «Кособродск», 1928 г.*

Итак, год моего рождения – «год великого перелома», о котором довольно долго я знала главным образом то, что полагалось знать, то есть неправду. Даже использовала на уроках истории СССР в школе отрывок из романа Бориса Горбатова «Донбасс». И муж его использовал. Отрывок, действительно, вызывал у учеников интерес, текст написан с литературной стороны неплохо. И вместе с тем – теперь-то это мне ясно – он фальшив в главном, причем не по незнанию, а по умыслу, ибо автор преследовал цель сугубо лакировочную в духе приснопамятного «соцреализма».

Писатель объяснял «перелом» «великим нетерпением», которое «вдруг охватило людей». Откуда «вдруг» взялось это нетерпение, Горбатов умалчивал. Зато, утверждал он, благодаря всеобщему нетерпению «все стало возможно». В том числе пресловутая «перековка людей». Уж в конце 40-х, на исходе сталинского царствования, когда писался роман, о «перековке» писатель мог бы не распространяться. Однако и полузабытый термин употребил, и места, где происходила «перековка», назвал – Беломорканал и колымскую тайгу... Как перековка происходила, в чем заключалась, все теперь знают.

«Над страной в те годы стоял неумолчный скрип колес. Все сдвинулось, стронулось, все было в дороге, все двигалось, ехало, плыло, брело». «Вся страна бредила темпами, просторами, дорогами, котлованами и экскаваторами; вся страна была в пути, в движении». Звучит красиво, и как будто нарисованный образ соответствует исторической правде: таких масштабов переселения людей Россия действительно еще не знала. Но писатель объявлял это переселение абсолютным благом, так как то, что делали «кочующие люди», было «вечным». Не сказано только, что кочевали они часто вынужденно или принудительно. Срывались с места в результате «раскулачивания», по «оргнабору» на стройки, стихийно и по всяким иным причинам, неласковым к людям. Железные дороги с трудом справлялись с потоками переселенцев.

В этот водоворот угодила и мама, с риском для жизни – своей и моей, хотя причина ее путешествия была естественной, не связанной с «переломом». Я уже вкратце рассказала, как мама, беременная, приехала из Барнаула в Кинешму. Отец ее отправил с вещами и сеттером Бертой, посадка в поезд была ужасной, вещи и собаку папа подавал в окно, такая была давка. Потом папа уволился и уехал в Кинешму сам. Перед этим, в Барнауле, он написал на обороте сделанной тогда фотографии мамы: «20 мая 1929 г. Наша жена Шуренка с собакевичем Бертишкой. Г. Барнаул» (я прочитала надпись, с трудом отклеив фотографию от альбомного листа; видимо, другого способа прикреплять фотографии тогда еще не было).

Родилась я в положенный срок в роддоме напротив Кинешмы, за Волгой. Мама мне рассказывала: чтобы навестить ее и меня, папа переходил пешком Волгу, прыгая через полыньи...



*Александра Петровна
Доброхотова с собакой Бертой.
Барнаул, 1929 г.*

Глава тринадцатая.



Слева направо: Александра Петровна Доброхотова (1-я), Иван Матвеевич Воишинников (2-й) и др. Кинешма, за Волгой. 1929 г.

Много лет прошло с тех пор, как родители ушли из жизни. Я их любила, но теперь, когда я старше их, хочу лучше их понять. Они были во многом разными людьми. Конечно, так случается сплошь и рядом, но на этот раз особенности суровой эпохи повлияли на их биографии очень сильно, причем неодинаково. Мне придется поэтому снова возвращаться в дореволюционное время, в период революции и Гражданской войны – в их детство и юность.

Ясно, что разница между родителями, между их настроениями и стремлениями определялась, с одной стороны, происхождением. Не социальным происхождением каждого в смысле сугубо анкетном, это не так существенно, оба считались «служащими». А тем, что мама была потомственной горожанкой, интеллигенткой, а отец вырос в сельской местности. Одно время он мечтал о высшем образовании, но так и не сумел его получить (или не проявил настойчивости?). Его всегда тянуло к земле, хотя и к книге тоже. С другой стороны, был у каждого, у папы и у мамы, свой индивидуальный опыт переживания самых тяжелых лет еще до того, как они встретились. Опыт, испытанный, когда их и их семьи настигли революционные события.

Фронт не проходил через Кинешму и Москву, хотя эти города и вся центральная часть России, удерживаемая большевиками, находились в 1918–1919 годах «в огненном кольце». Наверное, для мамы годы Гражданской войны, трудные для всех, были все же в первую очередь временем, когда она стала самостоятельной, овладевала профессией, и это пусть и не вытесняло из памяти, но заслоняло все остальное. На фоне студенческой, далеко, как мы знаем, не праздной ее жизни в эти годы память о помидорах, которые она тогда возненавидела, потому что их выдавали в пайке без соли, была неприятной, досадной, но все же мелочью (давали еще табак, и она стала курить, чтобы подавить чувство голода). Другие невзгоды тоже отступали на второй план.

Это не значит, что она забыла, какой была тогда советская столица. Образ холодной и неосвещенной Москвы тех лет с трамвайными путями, но без трамваев, с разломанными и сожженными заборами, с людьми, бродившими по улицам как тени, – в ее памяти остался. Она мне говорила, что у Алексея Толстого в романе «Сестры» Москва в момент, когда туда возвращается Даша, описана такой, какой она ее помнит, какой выглядела Москва в действительности. Между прочим, Москву мама так хорошо знала потому, что исходила ее пешком.

Период нэпа и восстановления страны она тоже застала в Москве, где жила и училась, а затем работала, получив диплом врача, несколько лет, до 1928 года. Мама хорошо знала, что медицинские учреждения, в которых она могла заниматься тем делом, какое выбрала сама, организованы были в большинстве своем после революции, новой властью. Вероятно, это смягчало боль от крушения налаженного, близкого с детства кинешемского быта. Бабушка после всего пережитого тоже не стала бесприютной, так что и это не воспринималось детьми как трагедия.

Отца, в отличие от мамы, кровавая лавина Гражданской войны задела непосредственно, она полностью разрушила привычный образ жизни всех членов семьи, в которой он вырос. В душе он никогда не мог согласиться с тем, что эта жизнь подлежит полному отвержению как «проклятое прошлое». С другой стороны, он не относился к своей профессии так, как относилась к своей мама, для которой профессия, приобретенная после революции, не была лишь источником существования...

Глава тринадцатая.

Меня формировало прежде всего настоящее, а не прошлое. Семья была лишь частью, хотя и главной в начале моего жизненного пути, той действительности, что окружала меня, причем сами мои родители к этой действительности не могли не приспособиваться – так же, как все.

И еще один, первостепенный, я думаю, момент. Новый режим обеспечивал себе поддержку средствами, не имевшими аналога в дореволюционной России. Это было новое, небывалое в мире явление – мобилизация всех средств пропагандистски-психологического воздействия на массы, использование для этого всех видов искусства, подчинение искусства идеологическим целям тоталитарного государства. Создавался параллельный, «виртуальный», по-нынешнему, мир. Это исключало любое инакомыслие и иное видение «ушедшей» России. Не только ушедшей, но и России, превратившейся в Советский Союз. Если такое, отличное от официального, видение прошлого и современности в чем-либо творчестве или изображении появлялось, то контакт таких произведений с широким читателем не допускался.

Все это теперь общеизвестно, примеры приводить ни к чему. Важно понять: легче этим новейшим средствам «воспитания» поддавались те, кто старой России не знали, да и революцию по молодости не испытали, смотрели на нее издалека, через романтические очки. И я в том числе.

Детство и юность моего поколения сопровождала яркая мифология Гражданской войны. Замечательная поэзия, замечательное кино. Поток увлекательных красочных легенд, предназначенных для массового потребления, особенно молодежью. Страшная реальность удалялась от новых поколений, и искусство свободно парило, утрачивая связь с историей, кроме разве что внешних аксессуаров. Не становилось больше правды и в исторических книгах, и в учебниках. Наоборот, факты и даже словарь эпохи стали скрываться. При сохраняющейся у нас поныне «безразмерности» сроков секретности исторических документов, они извлечены из архивов только сейчас.

Вот один из множества таких мелких документов, стандартное заявление обвинителя в революционном суде в мае 1920 года, тогда еще без всякого камуфляжа, так как в камуфляже не видели необходимости. Оно откровенно провозглашало разрушительный характер революционной идеологии, ставшей идеологией

государства. Ее сторонники были фанатично убеждены в том, что необходимо и возможно ниспровергнуть не только «мир насилия», но абсолютно всё, что было ранее, включая ценности культуры и цивилизации. «Здесь защита апеллировала к совести. Я хотел бы, товарищи судьи, обратить внимание, что в эпоху диктатуры пролетариата, в эпоху, когда все ценности объявляются низложенными, в этот момент апелляция к совести ничего не представляет»⁴⁵, – сжатый парафраз мыслей Ленина о морали и диктатуре пролетариата (в данном случае не так уж важно, над кем суд, но скажу: судили красного командира Б.М. Думенко, приговорили по инспирированному С.М. Буденным ложному обвинению к расстрелу; больше, чем через полстолетия реабилитировали).

Не сомневаюсь, отцу было известно много подобных фактов, не только слов, но он не рассказывал мне о том, что происходило с ним в действительности, щадил меня, защищал от жестокости, с которой сам, несомненно, сталкивался не раз. Так в 30-е годы поступали миллионы родителей, прошедших через революцию и Гражданскую войну.

Очень немногие из них пытались противопоставить официальной трактовке прошлого с намеренными искажениями и откровенной подтасовкой фактов собственные воспоминания, без всякой надежды увидеть их напечатанными. И, как писал один из таких мемуаристов, бывший князь и губернатор С.Д. Урусов, признанный, между прочим, после революции «образцом советского работника», он не считал разумным «вести домашнюю борьбу со школой и стараться дискредитировать школьное преподавание в глазах детей, которым придется жить и действовать в условиях своего времени» (предисловие к воспоминаниям, откуда взяты эти слова, датировано 1930 годом)⁴⁶. Мои родители воспоминаний не писали, но, вероятно, рассуждали – не вслух! – так же или сходным образом. Отсюда умолчания в их рассказах о прошлом, о которых я раньше уже написала, пытаюсь их частично восполнить. Придется эту трудную работу реконструкции продолжить.

⁴⁵ *Поликарпов В.Д.* Другая сторона буденновской легенды // *Гражданская война в России. События, мнения, оценки. Памяти Юрия Ивановича Кораблева.* М., 2002. С. 600.

⁴⁶ *Урусов С.Д.* Записки. Три года государственной службы. М., 2009. С. 35–36.

Глава тринадцатая.

Я перескажу с отдельными цитатами очередной составленный по казенной надобности документ, из которого при упорном желании все же можно извлечь немало, – довольно подробную (но не везде) автобиографию Ивана Матвеевича Вощинникова. Она написана им 7 августа 1938 года. То ли копия, оставленная для себя, про запас. То ли автобиография не понадобилась. Но писалась она все же для чужих глаз, отсюда ее особенности, ведь 1938 год! Тогда я ее, конечно, не читала, а если бы прочитала, до меня не дошло бы, что она представляет собой сочетание правды, вымысла и все тех же умолчаний. В большей мере, чем процитированное выше более раннее «жизнеописание» тети Лены. Это ясно мне теперь, и природа такой «неоткровенности» в документе, где полагалось быть откровенным, объяснима.

Я хочу, конечно, выяснить, что было в жизни отца на самом деле. Однако докопаться до истины удастся не всегда, даже с помощью рассказанного мне в разное время самим отцом и его родней. А других отцовских документов у меня нет.

Начинается автобиография, как положено, с указания имени, отчества, фамилии, даты и места рождения. Имя и отчество обыкновенные, а фамилия – Вощинников – сравнительно редкая, бывает, что ее не улавливают на слух и записывают неправильно, с этим я сталкивалась неоднократно и сталкиваюсь до сих пор. Но мой институтский учитель, археолог и этнограф Михаил Григорьевич Рабинович, человек высокой культуры, прекрасно чувствовавший русский язык, запомнил мою трудную фамилию безошибочно, как только ее услышал на первом курсе, и при этом заметил: «Ваши предки имели дело с пчельниками». То есть с псеками, были пчеловодами. Действительно, в толковом словаре можно прочитать объяснение корневого слова фамилии, это слово «вощина», что означает «пустые пчелиные соты или неочищенный воск».

Конечно, объяснять в автобиографии происхождение фамилии не требовалось. Но уже в начале текста я замечаю допущенную явно не случайно, совершенно намеренно «неточность»: отец пишет, что он «родился на ст. Обливской Ю[го] В[осточной] ж[елезной] д[ороги] Шахтинского-Донец[кого] окр[уга]». Казалось бы, родители отца должны быть в таком случае железнодорожниками, тем не менее, как сказано дальше, они «занимались крестьянством». Станция действительно такая есть, но я-то знаю, родился отец не на станции, а в станице

Обливской в казачьей семье, хотя и на краю бывшей Области Войска Донского, ближе к Царицыну.

Об этом всегда напоминали немногие сохранные им с той поры, когда это еще не нужно было скрывать, вещи – башлык и споротые со штанов лампасы. О казачестве в автобиографии и дальше ни слова, несмотря на то, что в белых частях и в конном строю Иван Вошинников никогда не служил и не воевал. Но приобретенные в детстве и юности навыки, например, навыки джигитовки он не утратил: мама рассказывала, как у нее на глазах отец ловко, на всем скаку, вытаскивал зубами кинжал из земли. Лошадей он обожал и привил эту любовь мне.

Далее в автобиографии сообщается, что, как только он подрос, стал работать вместе с родителями. Работал в поле и в период учебы, в каникулы, «так как достатки моего отца были средние, а семейство большое». Сестры Ивана Матвеевича рассказывали, что постоянной лошади в хозяйстве не было, имелся только верблюд, обрабатывали землю силами членов семьи и лишь для уборки урожая нанимали батраков. Семья состояла из бабушки, отца, матери и шестерых детей. Середняки? Но это понятие, хотя и ходовое, было неопределенным, неодинаковым в разных концах России, по-разному толкуемым, и после революции эту неопределенность понятия власть использовала в своих интересах, «раскулачивая» и середняков.

Учился Иван Вошинников с восьми лет в сельской школе, окончил ее в 1910 году, затем в Нижне-Чирском четырехклассном городском училище, куда отец отдал его «после некоторых колебаний, в смысле достаточности средств» «с намерением сделать из меня сельского учителя». В 1915 году, по окончании училища, 16-летний Иван, подготовившись, сдал экстерном экзамены за шесть классов реального училища и там же экзамен на сельского учителя. Война, мобилизация отца на турецкий фронт помешали приступить к учительской работе. Как старший в семье, чтобы не дать хозяйству развалиться и не оставить семью без средств существования, он заменил отца. Окончив в 1916 году бухгалтерские курсы (что-то по бухгалтерии он почерпнул еще в четырехклассном училище), стал подрабатывать инструктором по кооперации. Все еще, пишет он, «надеясь, что в дальнейшем как-нибудь смогу продолжить свое образование, но надежды мои не сбылись, и я по настоящее время работаю по счетной части».

Глава тринадцатая.

Отец, Матвей Васильевич, вернулся с фронта в конце 1917 года. Как тоже в свое время старший в рано осиротевшей семье он имел за плечами всего лишь два-три класса образования, но был умен и предприимчив, его избрали станичным атаманом (этого факта в автобиографии нет). 18-летний Иван, освободившись от забот о семье, расстался с ней и почему-то переехал в Полтаву. По рассказу его сестры, он сколько-то времени, вероятно, совсем недолго, проучился в местном офицерском училище (значит, был мобилизован при Временном правительстве?). После прихода большевиков к власти – это уже по автобиографии – вступил там же, в Полтаве, добровольцем в Красную гвардию, в особую роту при особом отделе городского Совета. По его словам, он ведал хозяйством роты – как человек по сравнению с другими образованный, да еще знающий бухгалтерию.

«В 1918 году под напором немецкой оккупационной армии горсовет эвакуировался по направлению г. Воронеж. По дороге, благодаря скученности людей в вагонах, я заболел тифом, и, скитаясь по железным дорогам, я в конце концов попал в какой-то санитарный поезд и в бессознательном состоянии доставлен в г. Казань».

В 1919 году он снова вступил добровольцем в Красную армию, служил опять по хозяйственной части, в отделе снабжения 21-й стрелковой дивизии, воевавшей на Южном, потом на Польском фронте до октября 1920 года, дослужившись до старшего бухгалтера отдела. Дальше – опять сыпной тиф с осложнениями, лечение в Кинешме, длительный отпуск, проведенный дома, то есть в Обливской, и возвращение в дивизию, которая к тому времени перебазировалась в Сибирь, в Барнаул. Но в ноябре 1921 года в связи с окончанием Гражданской войны дивизию расформировали, и Иван Вошинников вернулся домой, где, как он пишет, до 1925 года занимался сельским хозяйством.

Действительно ли он добровольно отправился на фронт, или и эта подробность, в известной мере защитного характера, тоже вымышлена? Проверить это я не в состоянии. Но о 21-й стрелковой дивизии могу сказать, что немного, написанное об этой воинской части в автобиографии, соответствует действительности.

Дополнительные сведения, которые я приведу, не противоречат указанным в этой части автобиографии фактам. Дивизия называлась Пермской, так как была сформирована из партизанских

отрядов Пермской губернии еще в первый период Гражданской войны, в сентябре 1918 года. Против отступавших уже войск Деникина она действовала с сентября 1919 года в составе 9-й армии вплоть до их окончательного разгрома. Переброшенная в апреле 1920 года с Южного фронта на Западный, дивизия дошла до Варшавы. Затем, когда не удалось, по ставшему известным не так давно выражению Ленина, «прощупать штыком» готовность Польши (а дальше Германии и других стран Европы) к социалистической революции, и войска М.Н. Тухачевского потерпели под Варшавой поражение, дивизия отступила вместе с другими красными частями. В Западную Сибирь 21-ю дивизию отправили, однако, не на отдых, как можно было бы подумать, читая автобиографию, а для «борьбы с бандитизмом».

И опять неожиданность. Согласно последующему тексту Иван Вощинников в 1925–1927 годах работает в Карелии старшим счетоводом на «рыбозвероловных промыслах». Почему снова такой крутой географический вираж, понять из автобиографии нельзя. Дело, по-видимому, в том, что к моменту возвращения Ивана в родные края Вощинников-старший был уже арестован и отправлен далеко, на Соловки. Неизвестно, точна ли хронология, но, если Иван и работал в Карелии, то определенно уже после того, как сам очутился на Соловках, где встретил отца. Матвей Васильевич пострадал за свое атаманство, он успел основать в Обливской школе («высшую начальную»), наверное, сделал и еще немало полезного, но нажил и врагов. Впрочем, его арест полностью соответствовал директиве Донбюро РКП: «арестовать всех видных представителей данной ста-



*Матвей Васильевич Вощинников.
1900-е гг.*

Глава тринадцатая.

ницы или хутора, пользующихся каким-либо авторитетом, хотя и не замешанных в контрреволюционных действиях...» – авторитет, мы знаем, у Матвея Васильевича имелся.

В 1922 году, как рассказала мне сестра Ивана Матвеевича Каллиста Матвеевна, тетя Каля, вся семья уехала в Новочеркасск, в бывшую столицу Области Войска Донского, а отец, чтобы снова не быть арестованным, в Царицын. Но за ним «охотились» и там застрелили, напав из-за угла. Когда именно, она не сказала, но, очевидно, после Соловков. Кто были «охотившиеся», расследовалось ли убийство? – тоже неясно, а я Каллисту Матвеевну об этом спросить не догадалась. Возможно, и она не сумела бы ответить, не зная подробностей.

Из сообщенных ею сведений, не отраженных в автобиографии, следует, что сельским хозяйством на родине Иван Матвеевич никак не мог заниматься столько лет, как он пишет, – вплоть до 1925 года. Ведь уже в 1922 году в Обливской никого из родных не осталось, не осталось и хозяйства. Видимо, где-то в 1923–1924 годах он и попал на Соловки. Но это был еще начальный, сравнительно «вегетарианский» период истории СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения), и ему посчастливилось там не задержаться. «Политиком» он не считался, так как не был членом какой-либо партии; тех стали свозить на Соловецкие острова летом 1923 года и сначала предоставили им льготный статус, но уже в конце года стали расстреливать, а в 1925 году оставшихся перевели на материк, в места заключения с суровым режимом. «Перековать» его, по-видимому, не удалось.

Чтобы кончить с соловецкой темой, скажу, что в этих местах, будучи уже взрослой, я побывала в качестве экскурсанта, вместе с мужем и подругой Таней Калининской. Путешествие в конце лета было очень разнообразным, и Соловки – только малой его частью. Все увиденное произвело на нас сильное впечатление, но ничего, кроме суровой природы и монастыря-крепости с кельями, в которых поселили приехавших по туристическим путевкам, не напоминало о Соловецком лагере, о начале ГУЛАГа. И в проводившихся экскурсиях этой темы экскурсоводы предпочитали пока не касаться...

Каллиста Матвеевна рассказывала о брате Иване еще ряд любопытных, хотя и непроверяемых, даже с помощью архивов, подробностей. По ее словам, в период пребывания Красной армии

в Польше в брата влюбилась жена командира полка, и якобы по этой как раз причине ему пришлось демобилизоваться, для чего он прострелил себе большой палец левой руки. Что палец был поврежден, это действительно так, и понятно, что продолжение военной службы этим полностью исключалось. К польскому походу относится также эпизод, о котором рассказывал сам Иван Матвеевич: товарищ предлагал ему дезертировать из Красной армии и остаться в Польше. Некоторые красноармейцы так и поступали, но он отказался. Но у меня и тут возникает вопрос: если стрелялся, то зачем отправился в Барнаул, в свою воинскую часть? И неужели тогда не могли отличить результат такого самострела от боевой или иной раны? Никто мое недоумение уже не разрешит.

И опять из рассказов сестры Ивана Матвеевича: о его романе с дочкой священника, на квартире которого он жил. И что арестовали его в Новочеркасске и сослали на Соловки за то, что был офицером (в 1917 году? Но был ли, или только готовился быть?). История с простреленным пальцем как-то перекликается с другой, также рассказанной сестрой, историей из жизни отца, Матвея Васильевича. В молодости, чтобы не жениться на сосватанной родителями, но нежеланной невесте, он сломал себе ногу, сунув ее в колесо повозки, когда поехали в церковь венчаться, – некоторая схожесть фактов двух биографий явно свидетельствует о близости характеров отца и сына. По словам тети, Иван был в отца.

После освобождения из Соловецкого лагеря Иван Вошинников решил больше не испытывать судьбу. В 1928 году он уже на Урале, оставаясь, однако, «лишенцем», то есть лишенным, согласно первой и второй конституциям РСФСР, избирательных прав по социальным признакам. К лишенцам причисляли бывших обладателей титулов, отмененных революцией, священников (таким был и отец маршала Василевского), бывших «эксплуататоров» и т.д. Не давали лишенцам и продовольственных карточек, когда их снова ввели. В городах в 1929 году лишенцы составляли 8,6 % населения, на селе – 4,1 %, после коллективизации, наверное, число их увеличилось⁴⁷. Мать меньшевика-эмигранта Бориса Николаевского, которую в 1929 году лишили из-

⁴⁷ Гимпельсон Е.Г. НЭП и советская политическая система. 20-е годы. М., 2000. С. 314.

бирательных прав (потом, правда, вернули), писала сыну: «Меня, конечно, не интересуют выборы в мои годы, но лишение прав ведет за собою много неприятных для жизни мелочей: например, питание, квартира. Лишенцы – это отверженные, вытолкнутые классовой борьбой из рядов обывателей, которые имеют какие-то, хотя примитивные, права». Всерьез ли только было сказано в письме о «классовой борьбе»? Сомневаюсь, что всерьез.

Вернуться в Обливскую или на Дон отец больше не стремился, наоборот, предпочитал жить подальше от тех мест, где знали о его казачьем происхождении, о семье. Он мог считать, что ему еще повезло: ведь в результате проведения политики «расказначивания», провозглашенной большевиками в начале 1919 года (массовый террор, заложничество, разграбление имущества, выселение и т.д.), погибло свыше четверти от общей численности казачества на 1917 год – 1 250 тыс. человек, не считая погибших в сражениях. Этих точных цифр, установленных недавно⁴⁸, отец знать, конечно, не мог, находился он, пока эта политика проводилась с максимальным размахом, в Красной армии, но о том, что происходило на Дону, знал. О «Тихом Доне», например, всегда говорил, что все там описанное – правда. Его собственная судьба была лишь отзвуком, сравнительно слабым, «расказначивания», он ведь остался жив.

Но когда большевики заявили, что отныне критерием отношения советской власти к казачеству будет прежде всего отношение различных его групп к Красной армии, и было обещано взять «под свое решительное покровительство и вооруженную защиту те элементы казачества, которые делом пойдут нам навстречу»⁴⁹, на Ивана Вошинникова это не распространилось.

Каллиста Матвеевна рассказывала мне также о братьях Матвея Васильевича, их судьбы сложились по-разному. Дядю Петро, по ее словам, умного и скромного, увлекавшегося овощеводством, в 1929 году «раскулачили» (в его хозяйстве также был один верблюд, и этого оказалось достаточно), повезли с женой и дочерью на Урал, высадили из теплушки прямо в лесу. У него болела нога, лежал он под деревом, не в силах подняться. Все же отлежался. Как-то сумели они оттуда выбраться и вернуться в район неподалеку от родных мест, под Сталинградом; Петро даже стал агро-

⁴⁸ Известия. 1991. 28 января.

⁴⁹ Известия ЦК КПСС. 1990. № 2. С. 171.

Судьбы родителей

номом. Из детей один сын тоже ушел тогда из лесу, но направился в другую сторону и пропал. Второй сын погиб в войну.

Дядя Степан Васильевич, «красавец, умница», как говорила тетя Каля, до революции служил офицером – в Варшаве, Петербурге. В Варшаве полюбил богатую еврейку, образованную девушку, знавшую языки, но родители не разрешили на ней жениться. Видимо, он вышел в отставку еще до Первой мировой, вернулся в Обливскую, купил дом, вел хозяйство. Несмотря на то, что женился, любовь к варшавянке осталась, она приезжала к нему, встречались в соседней станице. После революции Степан Васильевич из станицы уехал (куда?) и неизвестно, чем занимался. В 1937 году был арестован, в 50-е годы реабилитирован.

Глава четырнадцатая

Наши странствия

А Иван Матвеевич продолжал странствовать – уже не один, вместе с женой и со мной, до тех пор пока не пришла мне пора поступать в школу. Вот список всех тех мест, где работала мама накануне и после моего рождения и где всегда находилась работа и для отца – бухгалтера: в 1929–1930 годах Кинешма, в 1930–1932-м район Вичуги, в 1932–1935-м Чусовая Уральской области, в 1935–1936-м Ногинский район Московской области и с 1936 года Москва, куда мама всегда стремилась вернуться. Но, хотя работала мама уже в Москве, я переехала с ней в Москву на жительство только в 1942 году. До этого мы жили в Загорске.

Забегая несколько вперед, ко времени нашей жизни в Загорске, процитирую небольшой отрывок из очень известного документа – «Открытого письма Сталину» Ф.Ф. Раскольников. Процитирую по книге, но у меня есть и старый самиздатовский машинописный экземпляр. Посол-большевик Федор Раскольников, прозревший за границей, откуда он не вернулся в СССР, чтобы не быть арестованным и расстрелянным, подобно другим советским дипломатам, писал, что Сталин якобы «даровал» демократическую конституцию «под напором советского народа», а потом, испугавшись, растоптал ее, превратив выборы «в жалкий фарс голосования за одну-единственную кандидатуру»⁵⁰.

Это открытое письмо «врага народа» ходило по рукам после XX съезда. Раньше в СССР оно, по-моему, было известно только «компетентным органам». Вообще, и после съезда долго еще было непонятно, реабилитировали Расколькова или нет, раз он стал «невозвращенцем». Теперь документ общедоступен, и бывшая его сенсационность может показаться странной. Но, по-моему, Раскольников не все сумел издали разглядеть, а что-то разглядеть не захотел.

Не было, во-первых, «напора» советского народа и «испуга» Сталина, это выдумка, наверное, для западного общественного

⁵⁰ Возвращение к правде. Реабилитирован посмертно. Вып.1. М., 1988. С. 197.

мнения; никто там не мог еще поверить, что в первой стране «социализма» невозможен не только какой бы то ни было «напор народа» на власть, но даже и слабый писк. Во-вторых, я знаю, хотя была тогда ребенком, что Ивана Матвеевича «сталинская» конституция в момент ее принятия по-настоящему обрадовала. Наверное, не только его, и это не должно удивлять. Обрадовала тем, что с введением «всеобщего избирательного права» упразднялась категория «лишенцев», по сути дела, париев страны Советов. Означало это, что исчезает опасность дискриминации и членов семьи (осуществить такую возможность или нет всегда зависело от усмотрения местных властей; спасительным был мамин авторитет, да и другая фамилия).

Как же мало нужно было сделать, чтобы «простой советский человек» после всех бед и терзаний почувствовал некоторое облегчение! Так же воспринималось перед войной некоторое улучшение положения с продуктами. «Жить стало лучше, жить стало веселей»! Но насколько и надолго ли? Изо дня в день шли известия о подвигах прославляемых героев, летчиков и полярников, они вызывали радость и гордость. И одновременно – бесконечные разоблачения «врагов народа». Разобраться во всем этом мудро было и взрослому, что уж тут говорить обо мне...

Я помню, как во время первых «выборов» в Верховный совет СССР в 1937 году сияли глаза отца: он впервые участвовал в выборах, наравне со всеми и, вероятно, в этой ситуации для него не имело большого значения, что это – «выборы без выбора». А дальше? Дальше как у всех – привычка обеспечивать своим «голосом» стопроцентное голосование за «блок коммунистов и беспартийных». И страх после всего, что с ним случилось, сделать не так, как положено. Но все-таки, считал он, что-то в его гражданском статусе изменилось к лучшему. Правда, сам он этим изменением не воспользовался, как две его сестры, переехавшие в Харьков и получившие высшее образование: одна, Анна Матвеевна, стала детским врачом, другая, Каллиста Матвеевна, – горным инженером.

О себе я пишу только в связи с биографиями родителей, используя и их рассказы о моем раннем детстве. В том, что они мне рассказывали, можно увидеть также их, родителей, какие-то черты. До трех лет я еще жила с ними и с няней Палашей в Кинешме и под Вичугой, в деревне Марфино, где бывший помещичий особ-

Глава четырнадцатая

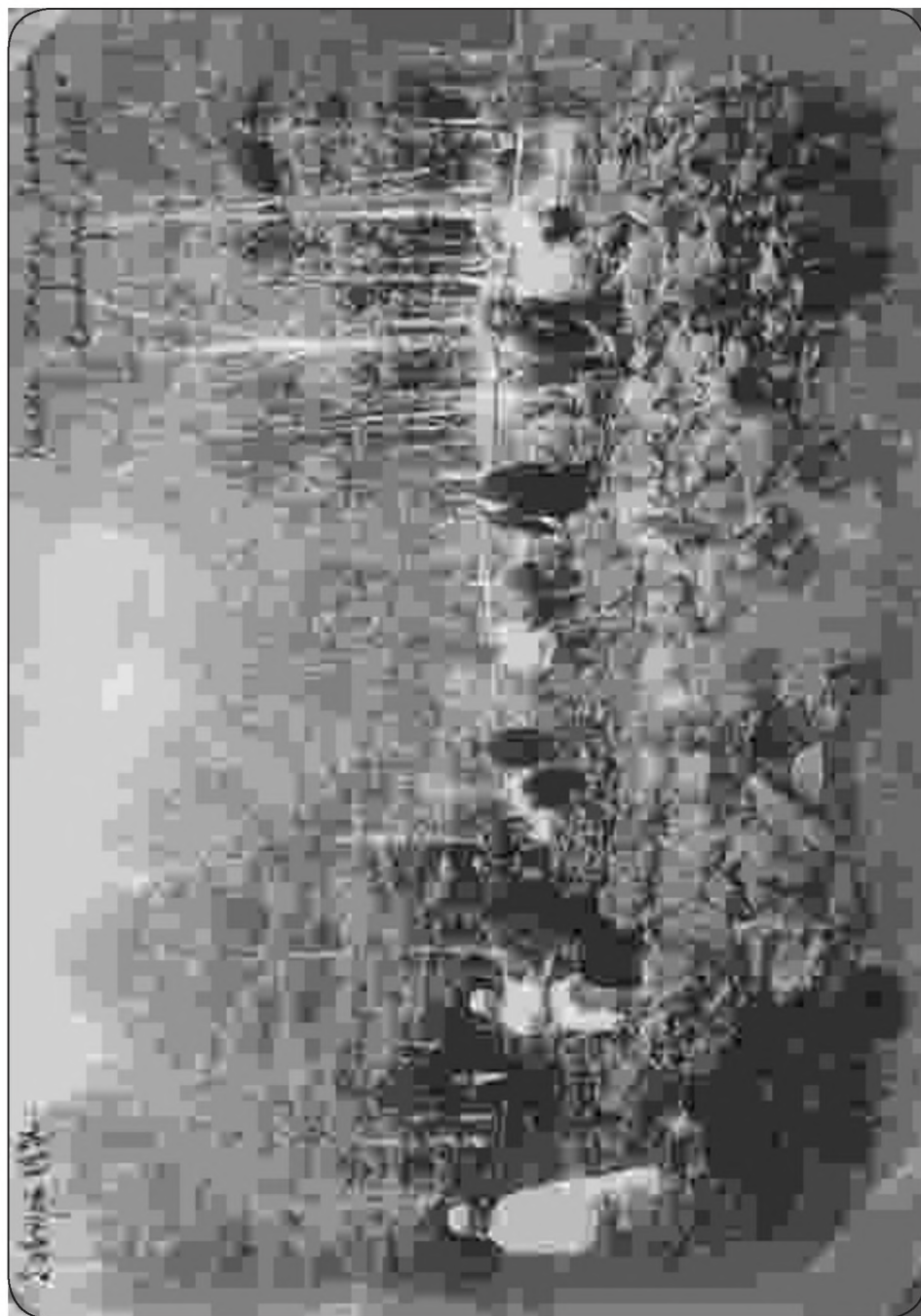
няк, перешедший затем к фабрикантам Разореновым, в 1923 году был превращен в санаторий для рабочих «Первое мая». Когда в начале 30-х годов мы там жили, папа приучил уже упоминавшуюся нашу собаку Берту (названную так в честь его приятельницы) возить мою коляску. На фотографиях видны сосновый бор и березовая роща, они рядом с санаторием; однако пациенты не гуляют, а трудятся на огороде под присмотром персонала. Красотами природы, архитектурой здания, в котором находился санаторий, сыт не будешь, время наступило опять голодное...

От самой ранней детской поры осталось не воспоминание, а ощущение: меня моют в большом эмалированном тазу, синем с белым, вода мне кажется горячей, я громко протестую... Мама потом объяснила, что температуру воды Палаша пробовала локтем, обычный приём, но кожа моего тельца была чувствительнее. Еще о том, как няня укладывала меня спать, укачивала, напевая колыбельные песенки, но как только переставала, думая, что я заснула, я открывала глаза и громким и ясным голосом требовала: «Палинька, баукай!» На Урале, в Чусовой, куда мы уехали, я была лет до пяти, уже без Палаша.

На Урал родители отправились в июне 1933 года, чтобы заработать на свой дом, о чем всегда мечтал папа. Заехали в Кинешму, потом плыли на пароходе по Волге и Каме. На новом месте ма-



Санаторий «Первое мая». Марфино близ Вичуги. 1931 г.



Прополка огорода большими. Марфино близ Вичуги. 1931 г.

Глава четырнадцатая

ма работала в тубдиспансере, сначала врачом, затем ее назначили заведующей. Жили мы в трехкомнатной казенной квартире. Ходили гулять в сопки, я мечтала, чтобы мы встретили медведя, они в тех местах водились, но, к счастью, ни один медведь не проявил к нам интереса. Жаль, что почти ни одной приличной фотографии этого времени не сохранилось.

Пока я была маленькой, со мной возился в основном папа, возможно, потому, что мама была больше занята на работе. Читал мне детские книжки перед сном, сшивал и переплетал их из приложений к журналам; любимая была про Васятку, и я хорошо помню голубовато-розовые страницы и грубо прошитые серые листы обложки с папиной надписью. У него был красивый, четкий почерк. Из тряпья и ваты он смастерил мне куклу Катю в красивом красном платице, она оставалась самой любимой до семи лет.

Мама всегда много читала и знала множество стихов наизусть. Колыбельных она мне не пела, их заменяла русская поэзия от Пушкина до Игоря Северянина. Позже она любила мне читать баллады А.К. Толстого «Василий Шибанов», «Поток богатырь», «Садко», вероятно, нравившиеся ей с гимназических лет, – начало начал моего интереса к истории, сформировавшегося позже. Так же, как пришедшие из маминого детства книги Чарской «Люда Власовска» и «Княжна Джаваха». Первый однотомник Пушкина, который я держала в руках, был подарен маме в связи с окончанием гимназии.

Где бы мы ни жили, книги сопровождали нас обязательно, домашняя библиотека все время пополнялась. К книге в семье относились с глубочайшим уважением и любовью. Родители с книгой не расставались. Показательный эпизод произошел, когда мама работала в санатории возле Вичуги. Там из какого-то дома выбрасывали и сжигали «ненужные» книги, их спасла мама; это были тома Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.К. Толстого, М. Метерлинка и еще довольно много книг дореволюционных и даже советских изданий, я сохранила их в своей библиотеке. Дань театральным увлечениям мамы: она вытащила из огня и старые журналы с портретами артистов Художественного театра, края некоторых подобранных листов так и остались обгоревшими...

Читать я научилась пяти лет, в Чусовой. Мне очень нравились «Ребята и зверята» Ольги Перовской, и папа сначала читал мне



*Слева направо: Пелагея, Александра Петровна Доброхотова,
Иван Матвеевич Вощинников, я и другие.*

Марфино близ Вичуги. 1932 г.

эту книжку сам, а потом стал давать задания подготовиться, чтобы к его приходу с работы я могла самостоятельно прочитать отмеченный абзац. Приучили меня выучивать наизусть к дням рождения родителей какое-нибудь стихотворение. Рассказывали историю написания книг. Помню, как жутко становилось, когда

читала при свете керосиновой лампы «Вия» Гоголя. Но больше читали мне.

Книги и родительский пример поглощенности своим профессиональным делом (у отца не одним лишь профессиональным) как бы противостояли – осознавалось это или нет – всепроникающему идеологическому давлению. Тогда и позже, через книги, но не только через них, мне внушались любопытство, интерес и уважение к людям, передавался опыт человеческих отношений. Это был, прежде всего, опыт поколений семьи Доброхотовых, «генетическая», а на самом деле духовная связь с ними, та преемственность, которую революция не разрушила до конца. Остались в глубине сознания многих и гуманистическое начало, и то понятие о совести, что объявили вначале излишним и старались всеми силами искоренить. Я всегда была благодарна своим родным за то, что они были такими, какими были, хотя о ком-то из них узнала не сразу.

Невозможно вне этого «наследства» рассуждать о влиявшем на меня мировоззрении родителей. Незадолго до нашего отъезда из Чусовой, 11 марта 1935 года, издававшаяся там небольшая газетка «Штурм» поместила интервью, взятое у т. Доброхотовой, – отклик на постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о повышении зарплаты медицинским работникам и о повышении ассигнований на здравоохранение. Номер газеты сохранился, и это интервью – тоже теперь пища для размышления. Мама, конечно, заявляла, что постановление «мы горячо приветствуем», что «сейчас, благодаря мудрому решению партии и правительства, создаются прекрасные условия для работы».

Говорила ли она действительно так, такими словами? Вполне возможно, что это формулировки корреспондента, но другими они быть не могли, единообразный ритуал – в печати в том числе – отрабатывался во всесоюзном масштабе, и разницы в этом смысле между советской провинцией (стали говорить, периферией) и столицей не было. «Партия и правительство» с упоминанием Сталина или пока еще без – предмет веры. Они не подлежат ни критике, ни сомнению, так как обладают высшей мудростью. С ней, с этой сверхчеловеческой мудростью «вождей», связываются надежды всех советских людей на решение всех проблем, а изоляция от внешнего мира способствует тому, что псевдорели-

гиозная вера, которую насаждают сверху те же «вожди», «овладевает массами».

«Овладела» ли эта вера и мамой – вопрос для меня неразрешимый. Но в перечислении на страницах газеты проблем, действительно ее волновавших, я вижу ее настоящую, это уже не журналистские обязательные штампы. По словам мамы, врачи получали 180–200 руб. в месяц, из-за этого они вынуждены были брать работу по совместительству, поверхностно осматривать больных, торопясь выписывать лекарства. Они не были заинтересованы повышать квалификацию. Зато теперь, как следует из газетной заметки, благодаря принятому «мудрому решению» все непременно изменится.

Мама скромно не сказала журналисту, бравшему у нее интервью, что сама она свою квалификацию повышала и оставалась, как и раньше, внимательным и отзывчивым врачом. Конечно, зарплаты по-прежнему не хватало, еще не отменили карточную систему. Но мама воевала со свекровью, принимавшей подношения благодарных больных – крупу или кусок сала; питались мы больше всего чечевицей. И рассчитывала прежде всего на себя, насколько это от нее зависело. Закупала продукты, организовала подсобное хозяйство, откуда выдавали поросят на выращивание желающим из персонала, чтобы заинтересовать их в работе...

Думаю, что судить о маминых политических взглядах на основании только этого интервью невозможно, я, вообще, не уверена, что можно говорить о политических взглядах советских людей 30-х годов. При мне мама считала нужным и обрывать папу в его скептических в лучшем случае высказываниях насчет политики советской власти, и соглашаться с тем, что «лес рубят – щепки летят», допускать, что действительно в стране полным полно «вредителей», и т.д. Впрочем, известно, что находились повторявшие всю эту ерунду даже среди зэков в лагерях, те самые «щепки»...

Сомневалась ли мама в том, что шпионами, вредителями и т.п. были деятели, чьи имена носили раньше всевозможные учреждения, например, Московский туберкулезный институт имени Рыкова, в котором она в 1934 году в течение двух месяцев повышала квалификацию, а впоследствии, когда уже институт лишился этого имени, находилась там на основной работе? Или, если она справедливо видела в таких наименованиях формальность,

Глава четырнадцатая

то считала ли всерьез «отравителями» известных всем медикам коллег, осужденных вместе с Рыковым и другими бывшими «вождями», а ныне «врагами народа»? Я не знаю, маму об этом, конечно же, не спрашивала, вообще, в том возрасте этим не интересовалась. Теперь понимаю, что взрослые тогда должны были безоговорочно верить и только верить, отключая собственную способность рационально и критически мыслить. Даже врачу было опасно вспоминать, что он homo sapiens.

Понятно, что у меня на пороге школьной жизни вопросы или сомнения на сей счет еще не могли возникнуть. Как и позже, когда на уроках в начальной школе, в четвертом классе я старательно вместе со всеми замазывала чернилами указанные учительницей портреты «врагов народа» в учебнике «истории СССР».

Однако каким образом профессиональная и общественная активность мамы могла совмещаться со стишком, однажды прочитанным мне наизусть во время прогулки по Красной площади в более позднее время? В памяти мамы он застрял с 20-х гг., когда только появился мавзолей, задолго до появления анекдотов «о Вовочке». Этот стишок-вопрос будто бы задает с пьедестала самого старого в Москве скульптурного памятника стоящий Козьма Минин; указывая в направлении мавзолея, он обращается к сидящему князю Дмитрию Пожарскому:

«Скажи мне, князь, что там за мразь
У стен кремлевских улеглась?»

Было ли продолжение – не знаю. Думаю, эти строчки никогда не печатали. Правда, в изданном в 20-е годы фольклорном сборнике можно было прочитать и такое:

«Сидит Ленин на березе,
Троцкий выше – на ели.
Для чего же вы, товарищи,
Коммуну завели?»

Или:

«А как наши девки модны
По три дня сидят голодны;
По дню хлеба не едят,
За политикой следят».

Но с комментарием собирателя, публикатора: частушки – это воспроизведение духовного настроения народных масс, в них можно найти много чисто революционных мотивов, но и чисто мещанских и контрреволюционных взглядов. «Право и лево, что будешь искать, то и найдешь...». Такой «объективный» подход возможен был только в 20-е годы. А дальше началось поточное изготовление «нужного» псевдофольклора. Когда я была ребенком, уже не на березе, а на дубу зеленом сидели два сокола ясных и вели разговоры... Но мама запомнила строчку из настоящего фольклора.

Наверное, таковы были неизбежные парадоксы сознания «простого советского человека». Сознания, придавленного безгласностью, плодившего в то же время анекдоты и частушки, подобные вышеприведенному стишку. Кстати сказать, знакомые и высшим лицам. Но неискоренимые...

У меня, взрослой, это воспоминание как-то монтируется, в первых, с фотографией из семейного альбома, о которой я уже писала, где памятник на Красной площади, – фон митинговой, но уже организуемой стихии первых послереволюционных лет. И,



Новый год. Слева направо: мама, я, папа, Клавдия Матвеевна Воцинникова. «Берлюки», 1936 г.

Глава четырнадцатая

во-вторых, с маминым кисетом, изготовленным в подарок государю императору, когда он совершал торжественное путешествие, повторяя маршрут ополчения Минина и Пожарского, в наивной уверенности, что единение царя и народа нерушимо. Странное дело, мне приходится, совсем неумышленно, подчиняясь фактическому материалу, в третий раз на протяжении моего не такого уж длинного рассказа вспоминать эти две исторические фигуры. Вспоминать по разному поводу, в связи с разными событиями, но получается, что эти фигуры, утратившие конкретность, ставшие символами, были некими константами и «большой» российской истории, и истории одной рядовой семьи.

Уехали мы из Чусовой летом 1935 года. Я смутно помню сборы и отъезда, мои слезы по поводу собачки Мушки – почему ее нельзя взять с собой? Мама стала заведовать трудпрофилакторием «Берлюки» в Московской области, он размещался в окруженном лесом монастыре на берегу речки Вори. Здесь впервые в моей жизни устроили новогоднюю елку, она перестала быть запретной: наверху, видимо, решили, что этот обычай не имеет отношения к религии. И с питанием здесь было лучше: завтрак, обед и ужин в столовой. До станции добирались лошадьми, но Москва была уже в пределах досягаемости, мама ездила туда по делам и к родным, иногда брала меня с собой.



Трудпрофилакторий «Берлюки». 1935 г.

Наши странствия



Мама и папа. «Берлюки», 1935 г.



Это я. «Берлюки», 1935 г.



Проба в столовой. «Берлюки». 1935 г.

Глава пятнадцатая

Загорск и Москва

Последнее место, где мы жили до Москвы и где я пошла в школу, – Загорск, Сергиев Посад, по-старому и по-новому. Можно сказать, первый в моей еще короткой жизни настоящий город, пусть всего лишь районный центр, но сравнивать его было мне не с чем. «Городок провинциальный, летняя жара, на площадке танцевальной музыка с утра ...». Все, кто пережил 41-й год, внезапное крушение мирной жизни, испытывают пронзительно-щемящее чувство, слушая эту песенку на стихи Геннадия Шпаликова в исполнении Сергея Никитина ... Наверное, и в Загорске так было в канун войны. Я помню это время с поправкой на мой тогдашний возраст, и на то, что мы жили на окраине города. Впечатлений о танцах память не сохранила, а в ушах звучит не музыка фокстрота «Рио-рита», а ребячьи голоса под окном: «Ни-на! Вы-хо-ди!».

Интересовалась ли я тогда не только окружавшим меня настоящим, но и прошлым этого древнего города? Возможно,



Троице-Сергиева лавра. Общий вид

кому-то из нынешних его жителей показалось бы, что недостаточно. Но если учесть и возраст, и ограниченный объем издававшейся в то время исторической литературы для детей, а также то обстоятельство, что в школе специально не привлекали внимания к особенностям возникновения Загорска, его истории, когда он назывался иначе, не «по-советски», так вот, если иметь все это в виду, то, пожалуй, узнала я за те несколько лет, что мы там жили, не так уж мало.

Мама принесла домой книгу об осаде Троице-Сергиева монастыря в период Смуты, о том, как на протяжении многих месяцев героически обороняли его монахи и окрестные жители, сбежавшиеся под защиту монастырских стен. Эту книгу, пробудившую мое воображение, читали вслух всей семьей. Книга была старая, дореволюционная. Потом, тоже в Загорске, я читала уже сама исторические романы писателей XIX века: «Юрий Милославский» М.Н. Загоскина, «Князь Серебряный» А.К. Толстого, «Грозная туча», – книги, также изданные до революции, из маминого детства.



Троице-Сергиева лавра. Трапезная

Но главное – впервые история встала передо мной в зримом и осязаемом виде, может быть, это был первый, пусть не шаг, а шажок к будущей моей профессии преподавателя истории. Величественное впечатление производила Троице-Сергиева лавра с мощными стенами, разнообразными сооружениями и золотыми куполами соборов – и как крепость, и как архитектурный ансамбль. Побывала я с родителями в прекрасном местном музее в той же Лавре, осматривала экс-



Я с мамой в Загорске. 1938 г.

позицию и монастырские постройки – трапезную, Успенский и Троицкий соборы, колокольную, построенную в XVIII веке (когда началась война, там устроили наблюдательный пункт; папа был назначен начальником ПВО Загорска; он рассказывал, что сохранился подземный ход в Хотьково, где находился женский монастырь; папа с товарищами пытались пройти по этому ходу, какую-то часть прошли, но дальше не решились из-за ветхости сводов). Помню еще, что в музее – только когда? – была открыта выставка церковной утвари и карет.

Уже студенткой вместе с нашей преподавательницей древнерусской литературы О.А. Державиной я снова побывала в Загорске на экскурсии. Мы смотрели росписи в Троицком соборе работы Андрея Рублева, показывал их и подробно нам рассказывал молодой инок-экскурсовод.

Постоянный антураж моего школьного обучения, начавшегося в Загорске, также был связан с своеобразным обликом города, который, несмотря на все перемены в жизни, невозможно было изменить. Разумеется, имелась в этом понятная больше взрослым, чем мне, связь с политикой, проводившейся по отношению к религии и церкви повсеместно в СССР. Дело в том, что началь-

ная школа, самая первая в моей жизни, помещалась в бывшем небольшом церковном здании на территории монашеского скита – ближе к нашему дому, далеко от центра города. То, что это здание было построено совсем не для школьных занятий, детей нисколько не смущало. В одноэтажной пристройке к церкви я проучилась три учебных года. Уроки четвертого класса проходили уже в алтаре, мы радовались, что нас перевели в более светлое помещение. Основная часть церковного здания служила для наших игр на переменах.

Я хорошо помню себя и то, что меня окружало, с шести лет. После всего, что было уже мною сказано о родителях, я попытаюсь в этой последней главе описать и сравнить их индивидуальные черты по собственному моему ощущению. Различалась ведь не только социальная среда, в которой они выросли, о чем я узнала подробнее позже и о чем уже рассказала. Но и психологически они были не похожи друг на друга, разницу в этом я могла чувствовать, общаясь с ними постоянно. Само собой, не формулируя это так, как формулирую здесь и сейчас.

То, что произошло в начале века в семье Доброхотовых, наложило отпечаток на характеры всех детей Петра Петровича и Евлампии Васильевны. Мама была человеком нервным, глубоко переживавшим и вместе с тем энергичным и целеустремленным. Но при этом она жила в ожидании неприятностей, у нее не было уверенности в том, что завтра все будет хорошо, если не лучше, чем вчера. Все давалось ей нелегко, она привыкла ни на кого не рассчитывать, полагаться только на себя. Папа легче переносил удары судьбы, выпавшие на его долю, характер у него был открытый, более легкий, чем у мамы. И более приземленный. Духовное начало в семье исходило от мамы. Она вела папу за собой, и он это принимал. Широта ее интересов всегда привлекала к ней людей.

По воскресным дням папа брал меня с собой на рынок, раскинувшийся у стен Лавры. Рынок был большой, и ближе к войне поражаало обилие привозимых продуктов – мяса, фруктов, овощей. После голодных лет и карточек это казалось чудом. Папа любил ходить по рынку, разглядывать все выложенные товары, разговаривать с продавцами и покупателями. Иногда попадались люди необычные, например, один человек выпрашивал на рынке кусочки сырого мяса и тут же к нашему удивлению их съедал. По

берегу речки Кончуры мы доезжали на велосипедах до бывшего скита Вифания в сосновом бору, путешествовали по берегам больших прудов, где когда-то монахи наладили рыбное хозяйство, разводили кур и уток. Теперь это был Птицеград, и все желающие могли здесь купить цыплят от кур породы «легторн». Вот и папа купил белых цыплят, а мне с двоюродным братом Димой пришлось их пасти на лужайке.

Зимой отправлялись с папой в лес на лыжах за елкой, потом ее наряжали. Какие-то елочные безделушки-самоделки с тех пор у меня сохранились. Кажется, первая после переезда в Загорск елка была украшена, помимо прочего, шоколадками в форме бутылочек с ликером. Пока родители были заняты разговорами с приехавшими из Москвы взрослыми родственниками, мы с Димой не удержались и стащили эти шоколадки. Выпили их содержимое – и заснули...

В загорский период нашей жизни родители дарили мне уже серьезные, «взрослые» книги – Некрасова, «Дон Кихот» Сервантеса, Мольера. В Загорске я стала по-настоящему много читать, вошла во вкус, сама выбирала книги, перечитала почти всю русскую классику, что-то из книг, которые родители брали для себя, читала тайком от них. Родители познакомились в электричке с Екатериной Васильевной Шевалдышевой, работавшей в московской библиотеке, она приносила мне приключенческую переводную литературу – Жюль Верна, Майн Рида, Луи Буссенара, потом Дюма, книги о путешественниках. С удовольствием читала детские журналы – «Мурзилку», «Чиж», «Пионер», журнал для пионервожатых «Затейник». И литературные новинки – печатавшиеся перед войной повести Гайдара, «Дикую собаку Динго» Фраермана.

«Затейник» я сохранила, и он мне пригодился во взрослой жизни, когда я стала работать с детьми. А первое время, попав по распределению в мужскую школу-новостройку в Измайлове, куда директора других школ спровадили самых отпетых пацанов, я возвращалась домой в слезах: «Мама, я завтра в эту школу не пойду...».

В моем «загорском» детстве я сама с собой играла в героев книг – среди подруг не было столько читавших. И учиться мне нравилось. Меня как примерную во всех отношениях девочку, отличницу прикрепляли к неуспевающим и шкодливым, сажали

ли с ними за одну парту, я с ними дружила. Но когда я написала сочинение о том, как провела летние каникулы с мамой на Кавказе, учительница усомнилась, что сочинение писала я, а не мама за меня. И еще один раз я стала жертвой своей начитанности. Учительница попросила назвать птицу, которая не летает. Я ответила: киви. «Таких птиц нет», – категорически возразила учительница. Было обидно, но мне не разрешали вступать в спор с взрослыми...

«Трудовое воспитание» проходило дома без особого нажима: мама, подобно тому как сама когда-то помогала в Кинешме бабушке в ее занятиях шитьем, научила меня вышивать, штопать, вязать, и от этих занятий я получала удовольствие. Уже после переезда в Москву продолжала повышать мою «квалификацию» тетя Оля. В Москве во время войны я вместе с Таней Шкариной, моей подругой на всю жизнь, поступила в вязальную мастерскую, в которой изготавливали варежки, шарфы и т.п. для бойцов Красной армии, за это давали, что было очень ценно, рабочую карточку – 800 граммов хлеба, шутка ли. Иногда приходилось заканчивать задание, полученное в мастерской, на уроках, под партой. А потом я обшивала и себя, и маму...

В Загорске впервые мы стали жить не в казенной квартире. Сначала получили участок, на котором построили дом по папиным чертежам, трехкомнатный, с кухней. Приехали мы с мамой туда днем, папа был на работе, спокойно вошли в незапертую дверь: воровства в Загорске еще не замечалось. Фактически это было за городом, в поселке без магазина, без электричества. До вокзала приходилось идти 45–50 минут пешком по холмистой местности и через весь Загорск, мимо Лавры.

Год мама не работала, не с кем было меня оставлять, потом нашли домработницу, пожилую женщину с одним только недостатком – уж очень сильно она храпела. Мне было нипочем, а мама, уставшая на работе, не могла заснуть. Эту домработницу сменила другая, 19-летняя девушка, учившая меня танцевать лезгинку, взяв в зубы кухонный нож. Обе они были деревенскими. Вообще, желающих обосноваться в городе, хотя бы небольшом, готовых братья для этого за любую работу, лишь бы не в деревне, было тогда предостаточно.

Бабушка водила меня в церковь, не спрашивая разрешения родителей. Не скрою, церковная служба казалась мне нудной.

Но нравились внешность и голос одного из двух священников. Второй, что постарше, был мне неинтересен, он напоминал своим обликом Деда Мороза. И нравилось причащаться. В доме у нас были две иконы, большая и маленькая. Я знала, что меня крестили, но о целенаправленном религиозном воспитании говорить не приходится, никакого давления или осторожного хотя бы влияния в этом смысле со стороны родителей я не испытывала.

Играли в игры, в которые теперь, насколько знаю, дети уже не играют: дома – в бирюльки, блошки, на улице – в штандер, лапту. Жизнь была достаточно вольной, иногда моя уличная самостоятельность плохо для меня кончалась: однажды я поменялась с другой девочкой шапками – чтобы устранить «последствия», пришлось остричь длинные волосы. «Подарила» подруге серебряную ложку – мама заставила забрать ее обратно. То же повторилось – и с тем же результатом – с книгой Чуковского «Доктор Айболит», с последним экземпляром, купленным в книжном магазине. Как-то я повыдергала на соседнем огороде рассаду – тут я сама ночью расплакалась и рассказала маме, в чем дело...

Несколько лет у нас жили папина младшая сестра Клавдия Матвеевна – тетя Клава и брат Александр Матвеевич – дядя Шура, потом он женился, и жена его Анна Алексеевна (Нюра) тоже стала жить с нами, помогая присматривать за мной и по хозяйству. Мама убедила тетю Клаву кончить курсы медсестер; в начале войны ее мобилизовали, службу она проходила в кавалерийской части под Москвой. Дядя Шура работал стрелочником на одной из ближних станций – Бужаниново.

Но слишком уж далеко было родителям идти от нашего дома до вокзала и обратно, и так каждый рабочий день. Родителей, особенно маму, это не устраивало. Поэтому мы здесь не задержались. Через год-другой нашли участок для застройки, правда, снова на окраине Загорска, на Комсомольской улице, 36, привезли готовый сруб, построили дом пополам еще с одним врачом. Мне вместе с домработницей отвели маленькую комнату. На этот раз до вокзала можно было добраться минут за пятнадцать ходьбы вдоль железнодорожного полотна. Папа работал в Пушкине, мама после годичного перерыва – в Москве, возвращались поздно, часов в восемь вечера.

Еще одно событие, оказавшее на меня сильное впечатление в детстве. Кажется, в 1937 или в 1938 году был в Загорске страш-

ный ливень: с грязно-желтого неба изливались потоки воды, и наш дом оказался прямо на берегу разлившейся Кончуры, казалось, вот-вот он сорвется вместе с нами вниз. В центре города затопило рыночную площадь, по реке плыли самые разные вещи.

И множество иных, радостных, впечатлений от неожиданной для меня поездки в Теберду. После этой поездки я написала то самое сочинение, в самостоятельности которого засомневались в школе. Собственно, были всего две летние поездки подряд на этот северокавказский курорт. Первый раз, в 1939 году, я поехала вместе с мамой и двоюродной сестрой Музой, в то время уже студенткой, она охотно согласилась помочь маме в каникулы. Летом 1940 года мы снова отправились туда, на этот раз без Музы, но с маминым шефом по институту профессором Федором Адриановичем Михайловым и его сыном, моим ровесником. Обе поездки слились для меня в одно ощущение радости и наслаждения природой и здоровьем; все время пребывания там окрашено в моей памяти в светлые, солнечные тона.

Между тем обе поездки были вынужденными: у меня открылся очаг в правом легком, я подхватила заразу еще в Берлюках. Я не подозревала о своем положении, частые температуры и простуды воспринимала как нечто обычное. А мама страдала от того, что не уберегла меня. Когда все средства были испробованы без видимого успеха, профессор Михайлов посоветовал маме мало еще известную Теберду как последнюю надежду.

Я же считала, что на мою долю выпало просто замечательное, необыкновенное приключение. Несмотря на то, что мне и раньше приходилось переезжать с родителями на большие расстояния, но это случалось все же до школы, да и Южный Урал не Кавказ. Увлекательным показалось мне уже само путешествие. Оно было продолжительным: поездом до Батаалпашинска (теперь Черкесск), а дальше пять часов старым рейсовым автобусом по узкой и скверной дороге, поднимавшейся все выше и выше. На ухабах пассажиры взлетали до потолка, и так всю дорогу, но мое внимание поглощали колоритные фигуры попутчиков – местных жителей. И окружавшая нас горная красота. Приехав, мы поселились на территории санатория «Большевик», где мама работала во время отпуска рентгенологом, там мы жили и питались, частично это окупало расходы на дорогу.



На реке Теберда. Я с Музой во 2-м ряду слева. 1939 г.



У водопада Шумка. 1940 г. Теперь водопада нет, осталась красивая горная речь

Глава пятнадцатая

Все свободное время мы проводили в прогулках. Съездили на Домбай – на лошадях, на линейке, через заповедник. Тогда было категорически запрещено заходить на его территорию без разрешения, что-либо рвать и собирать, но мы могли набрать полным-полно земляники при краткой остановке, прямо на обочине, не сходя с места. Участвовали в экскурсиях, организуемых турбазой, – на реку Муху, на водопад Шумка, в долину реки Джемагат. Все выглядело тогда естественным, диким. Озеро Кара-Кель было больше и глубже, чем теперь, вокруг сосны и никаких домов. Через Красную Поляну тянулась одна улица с глинобитными домами за глинобитными заборами, нас провожали громким лаем вылезавшие из подворотен лохматые дворовые псы. За домами сразу начинались горы, с другой стороны – голубая Теберда. Еще не было ни дамбы, ни уродливых многоэтажек, построенных позже...

Благодаря пребыванию в Теберде болезнь ушла навсегда. После войны и института, в 1953 году, я снова побывала в Теберде по туристической путевке (маршрут по Военно-Сухумской дороге) вместе с Таней Шкариной, была там еще много раз, с Таней, потом и с мужем. Любовь к этим местам передалась моему сыну Жене.

Вернусь опять в предвоенные годы, в Загорск. Стараниями папы появилось на нашем новом участке все, что полагалось: коло-



Студентка Муза Доброхотова с подругой. 1936 г.

дец, огород, сарай с инструментами, большой цветник, завели кур. Соорудил папа и карусель. Всем этим он занимался с истинным удовольствием, привлекая и меня к хозяйственным делам. Но помню, как мама просила его, когда он разбивал огород, оставить нетронутой лужайку, где можно было бы полежать, и говорила с грустью, что теперь всю жизнь придется работать на этот дом, на хозяйство. Когда началась война, папа отпустил бороду, решил не сбривать ее до окончания войны. В Москву переезжать папа категорически отказывался, не хотел снова жить на казенной площади, да еще в неизбежной коммуналке.



*Папа в начале войны.
Загорск, 1941 г.*

А мама хотела, чтобы я училась в московской школе.

По моим поверхностным детским наблюдениям, пока папа и мама были вдвоем, в доме было тихо и мирно, лад в семье сохранялся. Все, однако, менялось, когда появлялась отцовская родня со своими советами...

Кончилось все разводом родителей в 1942 году. Дом в Загорске поделили, папа свою часть продал и уехал через какой-то срок в Харьков, когда город освободили, к сестрам. Но в Харькове не остался, переехал, снова женившись, в Сухуми. Там он купил дом на окраине города, на склоне горы в ущелье, спускавшемся к морю. Трудно сказать, считали ли мои родители, расставшись, свои мечты осуществленными, тем более такой ценой. Плохого друг о друге они никогда не говорили. На мой вопрос о причинах развода мама отвечала: не сошлись характерами. А как же раньше сходились? На это она отвечала так: хотела, чтобы у тебя было нормальное детство.

Между прочим, папа довольно скоро после развода, еще в Загорске сделал предложение Е.В. Шевалдышевой, и та сообщила об этом маме, попросила ее совета. Мама сказала, что она в



*Бабуся.
Последняя фотография.
Загорск, 1941 г.*

свое время ни с кем не советовалась. Так ничего из этого сватовства не вышло.

Приведу строки из письма тети Лены маме, написанного в том же 1942 году, после смерти Евлампии Васильевны, которая последние свои годы жила у нас. Видимо, это ответ на мамино горестное письмо и по этому поводу, и по поводу развода с мужем, которому «пособствовала» свекровь Феврония Васильевна: «...Послала тебе одну Ванину открытку, сейчас посылаю следующую. Из нее ты увидишь, что Ваня очень хорошо был настроен в отношении мамы, и у меня не

было в этом отношении беспокойства и сомнений». Тетя Лена писала здесь о своей маме – моей бабусе.

После развода мама тоже продала свою часть загорского дома, вырученные деньги мы проедали всю войну в Москве, перевезли и овощи с огорода. Теперь у нас на двоих была комнатка в одном из арбатских переулков, Малом Власьевском, в коммунальной квартире, образованной из бывшего конюшенного сарая во дворе, с пятью или шестью соседями, полученная от туберкулезного диспансера, где работала мама. Сам диспансер помещался в особняке в том же переулке.

...Из романа XIX века, редко в наше время исполняемого: «Домик-крошечка, в три окошечка...», – так он начинается. Возможно, это о провинциальном городе, но и в Москве, в районе, где мы поселились, были такие дома, один из них – деревянный, оштукатуренный, как многие бывшие дворянские особняки, – находился напротив нашего. Не совсем, правда, такой, окошечек побольше, но в мезонине над первым и единственным этажом и в самом деле было ровно три окна. Над боковыми окнами – львиные маски, по центру – гипсовая лепнина. Без колонн, хотя бы декоративных. В одном справочнике, где этот дом изображен как архитектурная достопримечательность, сообщается, что его построили в 1816 году, после пожара Москвы, по типово-

Загорск и Москва



*С первым моим учителем Александром Ивановичем Новиковым.
Я – самая высокая, наверху. Загорск, 1941 г.*



*Я, Клавдия Матвеевна и папина мама Феврония Васильевна.
Загорск, 1941 г.*

му проекту. От этой типовой застройки остались немногие «домики».

«Домик-крошечка»? Но ведь он, скорее всего, принадлежал, когда его построили, одной семье. А вот та комнатка, где мы жили, действительно была крохотной. Вообразить такие размеры жилья новые поколения москвичей вряд ли смогут. Так же, как представить огромных наглых крыс, водившихся в нашей коммуналке. И обилие блох. И такую деталь быта: в банке у плиты на кухне, общей, конечно, имелись тоже для общего пользования лучинки. Спички в то время еще приходилось экономить... А еще жильцы завели общую симпатичную кошечку, она восседала на бочке из-под бензина, а внизу вокруг собирались коты. Из них она выбрала самого, на мой, человеческий, взгляд, страшного.

На несколько лет я оказалась в числе, условно говоря, «детей Арбата», не зная еще ни этого названия, ни того, что потом под ним стали подразумевать. Ведь книги, наверное, не было еще и в замысле автора, Анатолия Рыбакова. Моя мама от репрессий не



Москва. Дом в Малом Власьевском переулке.

пострадала, когда мы очутились во время войны в этих местах. Но самозванкой я себя не чувствую: Арбат с его переулками и позже оставался для меня родным, и мне жаль, что он перестал быть таким, каким я его видела в первые годы моей московской жизни. Старым Арбатом с обшарпанными еще домами и все-таки теплым, уютным, с магазинами для жителей, а не сплошь сувенирными, для туристов, как теперь, с несколькими кинотеатрами. Со знаменитым зоомагазином. Кажется, только он и уцелел.

Недавно, летним днем, мы с мужем выбрались из Теплого Стана и доехали до центра, чтобы пройтись пешком по Арбату, от начала до конца, от Арбатской площади до Смоленской. Решили посмотреть, как он изменился, хотя были, конечно, наслышаны. Давно там не были. Нашелся подходящий повод: как раз вышел в свет сборник «Арбатский архив», второй уже по счету, под редакцией Сигурда Оттовича Шмидта, с интереснейшими воспоминаниями самых разных людей, когда-либо живших на Арбате и вокруг. Напечатан в книге и небольшой отрывок из воспоминаний мужа. Не мы одни сожалеем о старом Арбате. Совсем другая улица. И памятник Булату Окуджаве не спасает. Понятно, перемены неизбежны, но все же можно было менять облик улицы как-то иначе...

Тогда, в 1942-м, тетя Лена из Иванова поздравила с новосельем. О том, какое нам досталось жилье, она знала. Но, видимо, так же, как мама, не считала наш отъезд из Загорска неправильным. А меня, несмотря на переживания и расставание с папой, обилие новых впечатлений не могло не радовать. Прожили мы в Малом Власьевском три-четыре года, потом, когда я уже училась в старших классах, переехали в несколько большую комнату – восемь метров – на улице Чайковского (так стал называться Новинский бульвар), конечно, тоже в коммуналке. Московский «квартирный вопрос» со времен Булгакова остроты своей не потерял, несмотря на убыль москвичей на фронт и в эвакуацию. Из эвакуации, правда, возвращались, а с фронта – далеко не все...

Самым главным для мамы было то, что мы, наконец, в Москве. Для нее как специалиста было важно, что Москва – центр медицинских знаний, она работала теперь в нескольких учреждениях, в том числе в научно-исследовательском туберкулезном институте на Стромынке. Еще важнее было для нее то, что мы находимся в культурном центре страны, где у меня будет неизмеримо

больше, чем раньше, возможностей развития. Не одни книги, но и радио (в Загорске его не было, в Москве появился репродуктор – обычная тогда черная тарелка), кино и театр. И семья тети Оли. И новые интересные люди.

Когда мы переехали в Москву, немцы были от нее еще довольно близко. Случались и налеты, одна фугасная бомба угодила в 12-этажный дом рядом с нашим, но не разорвалась. Заклеивали еще крест-накрест окна. Вечером по городу ходили со светящимися значками, чтобы не столкнуться в темноте с другими прохожими.

Мало-помалу Москва оживала после тяжелой осени первого года войны и зимы 1941–1942 годов, когда решалась судьба столицы. Вернулся из эвакуации Большой театр – с Лемешевым, Козловским, Обуховой, Барсовой, Михайловым, Рейзенем и другими тогдашними корифеями. Оперные спектакли шли на сцене филиала Большого, мы с мамой стали туда ходить по вечерам. Нам повезло: в нашей комнате прежний жилец оставил книги, в том числе, как мне показалось, несказанное богатство – книжечки с либретто многих русских и зарубежных опер. Достать билеты было легко, как-то купили билеты уже после того, как спектакль начался. Фигаро не выезжал на сцену на мотороллере, и у Лариных варили варенье, а не стирали белье... Но как пели! Не мне, не имеющей никакого музыкального образования, сравнивать их с современными певцами, но, по-моему, певцов с такими узнаваемыми, неповторимыми, ни на кого не похожими голосами, как у тех, кого я назвала, сегодня нет.

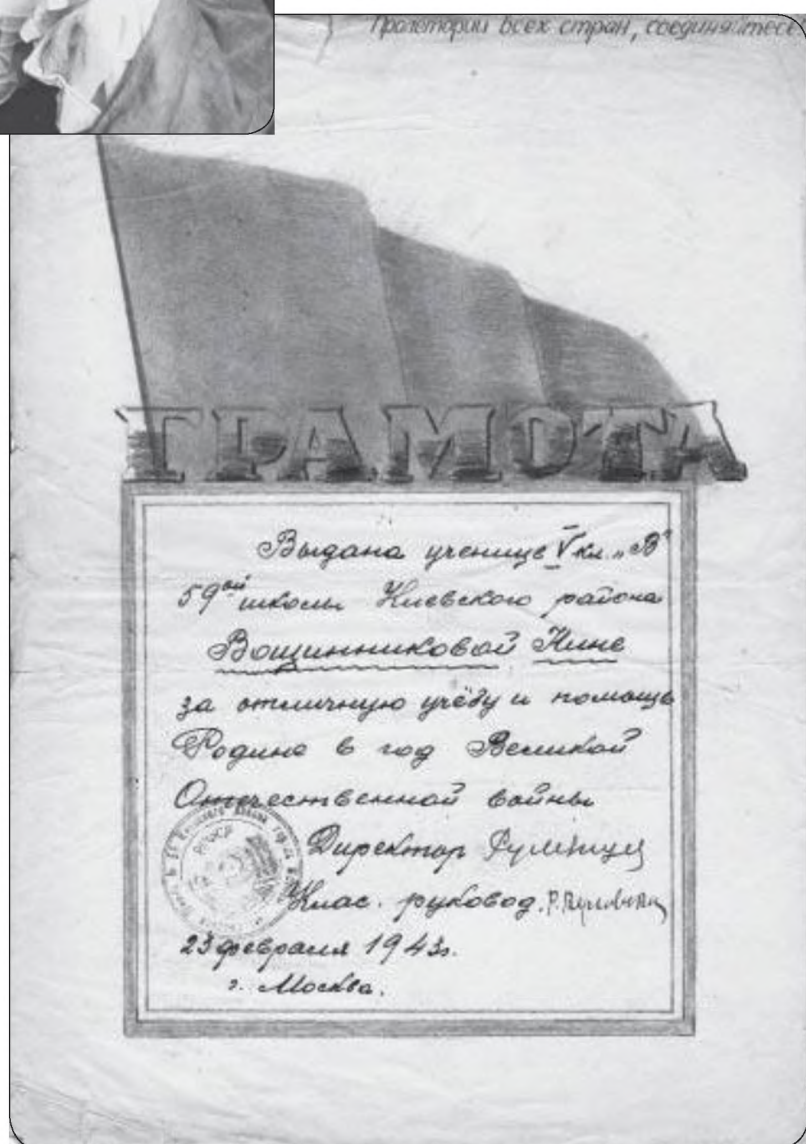
Случалось, что спектакль прерывался по сигналу воздушной тревоги, все дисциплинированно спускались в бомбоубежище, потом возвращались в театр. Такой случай был однажды и с нами. А мама как врач должна была в это время бежать на место работы, в Малый Власьевский...

Бывали мы часто и в других московских театрах – в Художественном, Вахтангова, в театре «Ромэн», Ленинского комсомола, Станиславского и Немировича-Данченко. Пользовались тем, что среди маминых больных были актеры, на спектакли мы попадали по билетам и контрамаркам. Возобновили знакомство с актером МХАТ Наумом Андреевичем Шульгой и его женой Елизаветой Петровной, раньше тоже актрисой на роли инженеру. Сначала они играли в провинциальных театрах, мама знала

Загорск и Москва



Я в костюме Атоса. Москва,
1944 г.



Глава пятнадцатая

их еще в Кинешме, они снимали у бабушки квартиру. Теперь у них была дача в Переделкине, недалеко от поселка писателей. Благодаря этому знакомству мы пересмотрели весь репертуар Художественного того времени с Качаловым, Прудкиным, Москвиным, Тарасовой, Леонидовым, Масальским, Яншиным и другими первоклассными артистами – «Мертвые души», «Анну Каренину», «Школу злословия», словом, все, что ставил тогда МХАТ.

Не без воздействия ярких театральных впечатлений мы с подругами играли в свой собственный «театр», наряжаясь героями любимых «Трех мушкетеров». Я изображала Атоса. На обороте фотографии, где я представлена в костюме героя Дюма, написано моим ученическим почерком: «Граф де ля Фер. 7 июля 1944 г. Москва». Кроме увлечения романом, наши попытки перевоплощения были, конечно, следствием причины более прозаической – раздельного обучения, мы ведь учились в московских женских школах. Малых городов, таких, как Загорск, раздельное обучение не коснулось: не хватило бы ни учителей, ни школьных помещений...

...Так же, как мои ровесники и подруги, я устремлена была в завтрашний день, в будущее, неясное, но привлекательное тем уже, что оно нам предстояло. Не сознавая тогда еще, что в моей душе, открытой новому, навсегда осталось и унаследованное, усвоенное часто незаметно, но прочно. О том, как «наследование» происходило, я и попыталась рассказать в этой книжке. И о тех, кому я бесконечно благодарна.

Указатель имен

А

Александр II, имп. 85
Александр III, имп. 25, 42, 80
Алексий (Симанский), митр.
129
Алисова Н.У. 17
Арагон Л. 51

Б

Бабель И.Э. 81
Барсова В.В. (Владимирова)
192
Блок А.А. 110
Бредихин Ф.А. 67
Бродаты Л. 131
Буденный С.М. 129, 155
Булгаков М.А. 191
Булганин Н.А. 146
Бурдин Ф.А. 16
Бурышкин А.В. 57
Бурышкин П.А. 57, 58
Буссенар Л.-А. 180

В

Василевский А.М. 125–129
Васильев 37
Вахтангов Е.Б. 192
Верн Ж. 180
Виноградов 147
Виноградова В. (урожд.
Флягина) 147
Вошинников А.М. 182
Вошинников Е.И. 186
Вошинников И.М. 15, 149, 151,

152, 156–162, 164–166, 168,
169, 171, 173, 175, 178, 179,
182, 186–188, 191
Вошинников М.В. 158, 159, 161,
162
Вошинников П.В. 162
Вошинников С.В. 163
Вошинникова А.А. 182
Вошинникова А.М.
(Александрова) 165
Вошинникова К.М. 160, 165
Вошинникова Кл.М. 173, 182,
189
Вошинникова Ф.В. 187, 189
Вышинский А.Я. 145
Вяземский П.А., кн. 35

Г

Гайдар А.П. (Голиков) 180
Глинка М.И. 40, 41
Глушков С.Н. 52
Гоголь Н.В. 170
Горбатов Б.Л. 150
Горький М. (Пешков А.М.) 34,
105
Грибоедов А.С. 25

Д

Деянов И.Д. 80
Державина О.А. 178
Джунковский В.Ф. 108, 109
Доброхотов (Киселев) 47
Доброхотов В.Л. 147, 180
Доброхотов В.П. 47, 69, 70, 71,

Семейные истории на фоне двух эпох

- 76, 77, 83–85, 87, 92, 97, 99,
106, 112, 116, 139, 142
Доброхотов Ив.П. 33, 75, 76
Доброхотов Ис.П. 44
Доброхотов Л.П. 16, 69, 70,
71, 74, 76, 82, 83, 84, 86, 87,
98–103, 105–107, 112, 139,
141–143, 145–147
Доброхотов П. 33
Доброхотов П.П. 31, 33, 40, 42,
60, 62, 63, 65, 66, 69, 72–78,
87, 144
Доброхотов С.П. 72, 73
Доброхотова А.П. 13–15, 19, 38,
47, 70, 78, 81, 84, 92–95, 97,
99, 100, 105, 106, 109–111,
114, 115, 117, 132, 135–140,
147, 149, 151–153, 157, 164,
166, 168–175, 177–183, 188,
190–192
Доброхотова Е.В. (урожд.
Красильщикова) 20–33, 35–
44, 47, 49, 50–53, 59, 60, 62–
80, 82–84, 87, 91, 92, 94–96,
98, 99, 102, 105, 110–112, 114,
116, 118, 119, 124, 126, 132,
133, 135, 136, 141, 143–145,
179, 188
Доброхотова Е.П. 31, 47, 69,
70, 76, 83, 84, 87, 88, 92, 93,
97, 100, 124, 132–136, 138,
141–145, 147, 188, 191
Доброхотова М.Л. 16, 147, 183,
184, 186
Доброхотова Н.П. 84, 139
Доброхотова О.И. (урожд.
Серебренникова) 110, 111,
135, 145, 147, 181, 192
Дриллх И.Я. 104
Дружинин Н.П. 39
Думенко Б.М. 155
Дюма А. 180, 194
- З**
Забелин И.Е. 9, 14
Загоскин М.Н. 177
Зайончковский П.А. 22
Замятин Е.И. 124
Зевеке А.А. 38
Зеленцова В. 37
Зимин С.И. 106
- И**
Иванов А.Е. 106, 107
Иоанн Кронштадтский
(Сергиев И.И.) 36
- К**
Каганович Л.М. 146
Калинин М.И. 57
Калининская Т.А. 160
Каракозов Д.В. 85
Карузо Э. 58
Кассо Л.А. 107, 108
Качалов В.И. (Шверубович)
194
Кекушев Л.Н. 51
Козловский И.С. 192
Коковин И.И. 65, 69
Кокорев 127
Кольцов Н.К. 134
Комиссаров-Костромской О.И.
85, 86
Кондратьев Н.Д. 89
Коновалов А.И. 51–54, 59, 81,
108, 109, 119
Коновалов И.А. 81
Коновалов П.К. 52

Именной указатель

Корин П.Д. 34
Королев С.И. 44
Королева В. (урожд. Шипова),
Вера 30, 43, 44
Короленко В.Г. 67, 68
Корш Ф.А. 41, 42
Кошман Л.В. 22, 39
Красильщиков А.П. 56
Красильщиков В.С. (Папаша)
44, 47, 48, 53, 55, 70
Красильщиков М.А. 47, 48
Красильщиков Н.М. 42, 47,
56–59, 108
Красильщиков П.М. 47
Красильщиков Ф.В. 26, 36, 41,
49, 50, 52, 64, 66, 74, 87, 94,
95, 98
Красильщиков Ф.М. 47
Красильщикова А.Т. (Мамаша)
26, 33, 36, 64, 65, 68, 71, 74,
75, 77, 87, 92
Красильщикова А.М. (урожд.
Хонина) 30, 48, 56
Красильщикова А.Ф., Саша 26,
36, 144
Красильщикова Л.Ф., Лида 26,
41
Кторов А.П. 17
Кукольник Н.В. 40
Куломзин А.Н. 45, 46
Куломзин Я.А. 46
Кускова Е.Д. 113
Кустодиев Б.М. 27–29, 30, 32,
34, 119, 120

Л

Левитан И.И. 29, 68
Лемешев С.Я. 192
Ленин (Ульянов В.И.) 89, 97,

142, 172

Леонидов Л.М. 194
Леонидовы 92
Лесков Н.С. 34
Лихачев Д.С. 141

М

Майн Рид 180
Мамин-Сибиряк Д.Н. 168
Масальский П.М. 194
Махов Н.И. 90
Мережковский Д.С. 110
Метерлинк М. 168
Микоян А.И. 128
Миндовская И.И. 51
Миндовский А.И. 25, 55, 56
Миндовский Вас. 137
Миндовский Вл. 55, 56, 71, 137
Миндовский Г.И. 56
Миндовский И.А. 49, 51
Миндовский Н.И. 50
Минин К. (Анкундинов К.М.)
115, 172, 174
Михаил Федорович, царь 85
Михайлов М.Д. 192
Михайлов Ф.А. 183
Михайлова М., Маша Шуйская
30

Мольер 180
Морокины 127
Москвин И.М. 194

Н

Назарова 72–77
Недопекин 31
Некрасов Н.А. 180
Нелидов А.И. 65
Немирович-Данченко В.И. 192
Никитин С.Я. 176

Семейные истории на фоне двух эпох

Николаевский Б.И. 161
Николай (Ярушевич), митр.
129
Николай I, имп. 40
Николай II, имп. 25, 58, 108–
110
Новиков А.И. 189

О

Обухова Н.А. 192
Окуджава Б.Ш. 7, 191
Ольга Николаевна, в. кн. 40
Ольденбургский А.П., кн. 99
Орле И. 134, 135
Оруэлл Д. 124
Островский А.Н. 16, 19, 34, 38,
43, 59, 66, 120, 121
Островский Н.А. 81

П

(Парская) Х., Хретица 30, 43, 65
Пашков Е. 57
Пелагея, Палаша 71, 73, 124,
125, 165, 166, 169
Перовская О. 168
Петин Н. 42, 66
Пожарский Д.М., кн. 115,
172, 174
Поленов 63, 64
Поленовы 64
Пришвин М.М. 112
Протазанов Я.П. 17, 38
Прудкин М.И. 194
Пуришкевич В.М. 102, 103, 107,
108
Пушкин А.С. 18, 19, 40, 168

Р

Рабинович М.Г. 156

Разореновы 44, 89, 138
Раевский П. 110
Распутин Г.Е. 110
Раскольников Ф.Ф. (Ильин)
164
Резвяков 72
Рейзен М.О. 192
Реформатский А.Н. 134
Романовы 85, 108
Рублев А. 178
Рыбаков А. 190
Рыков А.И. 171
Рябушинский П.П. 58
Рязанов Э.А. 17

С

Самохвалов П.М. 133
Самохвалова М.В. (Сорокина,
урожд. Красильщикова),
Маша 21, 23, 25, 26, 36, 60,
65, 69, 75, 78, 87, 88, 133
Сафронов В.П. 56
Свердлов Я.М. 137
Северянин И. (Лотарев И.В.)
168
Севрюгов Н.П. 60
Севрюгов Ф.Ф. 42
Севрюговы 61
Сельвинский И.Л. 130
Сервантес Сааведра М. де 180
Сергий (Страгородский), митр.
129
Собинов Л.В. 58
Сорокин Д.Н. 26
Сорокин К.Н. 21, 26, 36, 78
Сорокин П.А. 89–91
Сталин И.В. (Джугашвили) 14,
18, 127–129, 146–148, 164,
170

Именной указатель

Станиславский К.С. (Алексеев) 192

Столыпин П.А. 104, 112

Сумбатов-Южин А.И. 42

Сусанин И. 85

Т

Тарасова А.К. 194

Тиличьев С.В. 102, 103

Тихон Калужский 77

Толстой А.К., гр. 168, 177

Толстой А.Н. 153

Толстой Л.Н., гр. 100, 103–105

Третьяков П.М. 42

Троцкий Л.Д. (Бронштейн) 172

Тугрин 72

Тургенев И.С. 25

Тутышкин П.П. 133

Тухачевский М.Н. 159

У

Урусов С.Д., кн. 155

Ф

Флягин А. 106

Флягина А.П. 69

Флягины 77

Фраерман Р.И. 180

Фурманов Д.А. 81–83

Х

Хлебникова М.А. 31, 73

Хрущев А.И. 52

Хрущев Н.С. 146

Ч

Чайковский П.И. 191

Чапаев В.И. 81

Чарская 168

Черкасский В.М. 94

Черкасский М.Н. 94

Чехов А.П. 131

Четвериков С.И. 53, 54, 59, 96

Чуковский К.И. 105

Ш

Шагов Н.Р. 109

Шаляпин Ф.И. 120, 142

Шапошников Б.М. 127

Шаховские 57

Шевалдышева Е.В. 180, 187

Шехтель Ф.О. 51

Шиповы 31

Шкарина Т.Г. 181, 186

Шмидт С.О. 191

Шолохов М.А. 47

Шпаликов Г. 176

Штернберг П.К. 67

Шульга Е.П. 192

Шульга Н.А. 192

Э

Эков П. 134

Эренбург И.Г. 121–124

Я

Яковлев А.С. 146

Яншин М.М. 194

Литературно-документальное издание

Воцинникова Нина Ивановна

СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ НА ФОНЕ ДВУХ ЭПОХ

Издатель *Леонид Янович*

Редактор *Исаак Розенталь*

Корректор *Ираида Кускова*

Верстка и оригинал-макет *Евгений Янович*

Обложка *Антонина Байдина*

Налоговая льгота -
Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 – книги, брошюры

НП Издательство «Новый хронограф»
Контактный телефон в Москве (495) 671-0095,
по вопросам реализации 8-905-739-0264
E-mail: nkhronograf@mail.ru

Информация об издательстве в Интернете: <http://www.novhron.info>

Подписано к печати 18.06.2012
Формат 84х108/32. Бумага офсетная №1
Печать офсетная. Усл.-печ. л.
Тираж 500 экз. Заказ №

Отпечатано в ООО «Чебоксарская типография № 1»
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 1

Новый хронограф



9 785948 811864